



**Поліна
Дашкова**

СООТНОШЕНИЕ СИЛ

РОМАН

Полина Дашкова

Соотношение сил

«АСТ»

2014

Дашкова П. В.

Соотношение сил / П. В. Дашкова — «АСТ», 2014

1940 год. Третий рейх – единственное государство в мире, где идут масштабные работы по созданию уранового оружия. Немецкий физик сделал открытие, которое позволит решить главную техническую проблему, и тогда Гитлер получит атомную бомбу к июню 1941-го. Группа людей в СССР, Британии, Италии и Германии втайне от всех разведок мира пытается предотвратить катастрофу...

© Дашкова П. В., 2014

© АСТ, 2014

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	23
Глава третья	33
Глава четвертая	45
Глава пятая	61
Глава шестая	76
Глава седьмая	88
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Полина Дашкова

Соотношение сил

Спите крепко, палач с палачихой!

Улыбайтесь друг другу любовней!

Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,

В целом мире тебя нет виновней!

Иннокентий Анненский

© Дашкова П.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Глава первая

Высокие кованые двери открылись, Маша очутилась в полутемном коридоре, сквозь панический стук сердца слышала, как мужской голос объявил:

– Танец Жанны из балета «Пламя Парижа». Музыка Асафьева, сценография Дмитриева, исполняет солистка балета Государственного Большого театра Мария Крылова.

Маша выбежала на сцену. Хрустальный свет огромных люстр ослепил. Все сверкало и переливалось, словно она попала в центр гигантского бело-золотого фейерверка. Самый длинный стол стоял прямо перед сценой, дальше множество столов, белые скатерти, зеленые бутылки, пестрота снеди, смутные пятна лиц.

Натертый паркет оказался слишком скользким, но испугаться она не успела. Знакомые аккорды фортепиано подхватили ее, как живые невидимые руки, завертели, вскинули в первом, высоком и долгом прыжке. Приземлившись, Маша заметила, что за главным столом зрители сидят спиной к сцене.

На каждом витке фуэте она ловила мгновенную, как вспышка, картинку. Розовый ломоть семги дрожит на вилке. Кусок хлеба застыл в толстых пальцах, с него сползает на белую скатерть горка черной икры. Полная до краев рюмка. Судя по цвету, коньяк. Следующий виток – рюмка пуста.

Центральная фигура за главным столом сидела вполоборота. Маша успевала разглядеть только детали. Покатые узкие плечи. Щетинистый валик между затылком и воротником френча. Вялая крапчатая щека. Кончик уса, нос, глаз, бровь.

«Все-таки иногда поглядывает, – отметила про себя Маша, – поглядывает с интересом, но продолжает жевать».

Квадратная голова Молотова была обращена к сцене затылком. Дедуля Калинин сидел боком, жевал, шевеля бородкой. Берия, индюк в пенсне, развернулся, глазел, ковыряя в зубах спичкой. Ворошилов сгорбился, голову вжал,пил рюмку за рюмкой.

Маша знала, почему славный маршал такой пришибленный. Он обещал победить белофиннов к 21 декабря, к шестидесятилетию товарища Сталина, сегодня 22 декабря, а победой пока не пахнет.

Центральная фигура стукнула стулом, рядом мгновенно выросли молодые люди в штатском, бережно развернули стул вместе с фигурой и сразу исчезли. Товарищ Сталин перестал жевать, внимательно смотрел на сцену.

Ритм танца нарастал. В диком аллегро крутилась алая юбка, трепетал белый батист пышных рукавов. «Прыжки басков», повороты в воздухе, скачки «субреско», с долгим отлетом вперед, тело выгибается в воздухе крутой дугой, затылок почти касается сжатых пяток, пируэты, пробежки на пуантах, дробь, с пятки на носок, с носка на пятку, большое фуэте, тридцать два оборота без остановки.

На очередном витке она заметила, что теперь все за главным столом развернулись и смотрят, как здорово отплясывает солистка Крылова.

Маша исполнила свой коронный кабриоль, высокий прыжок, несколько быстрых ударов ногой о ногу. Почти не приземляясь, зависая невероятно высоко и долго, она кроила ногами воздух Георгиевского зала, летала над скользкой сценой и наконец застыла в арабеске. Последняя пара прыжков была импровизацией, музыка стихла. Арабеска совпала с мгновением тишины. Под шквал аплодисментов Маша сделала реверанс, потом отвесила красивый русский поклон в пояс, а когда распрямилась, сумела, наконец, разглядеть лицо центральной фигуры.

Она часто видела его издали, со сцены, в полумраке правительственной ложи, но еще ни разу так близко, при ярком свете.

Тусклые сощуренные глаза, толстый нос, мятые рябые щеки. Виски аккуратно выбриты. Неприятная диспропорция: лоб и вся голова слишком малы, а лицо большое, тяжелое, отечное. Шевелюра густая, тщательно уложенная на косой пробор, зрительно увеличивает объем черепа, но все равно маловат гениальный череп. И вообще, не похож этот пожилой нездоровый кавказец на свои бесчисленные парадные изображения.

Маленькие, почти женские, кисти товарища Сталина двигались, смыкались, размыкались. Сквозь шум аплодисментов огромного зала Маша отчетливо различала отдельный, особенный звук этих медленных, мягких хлопков, и счастливо, широко улыбалась.

Зал продолжал аплодировать, а товарищ Сталин перестал. Рука его протягивала бокал в сторону сцены. Усы вздернулись в ответной улыбке. Он смотрел прямо в глаза солистке, слегка покачивался и даже как будто подмигивал.

Маша застыла, не понимая, что ей делать. Специальные люди вдалбливали всем участникам концерта: сразу уходить, не задерживаться, в зал не спускаться!

«Как же уйти, когда он угощает? – думала Маша. – Надо спуститься! Или не угощает, а сам будет пить из этого бокала?»

Но тут фортепиано опять заиграло. Аплодисменты смолкли. Маша повторила кабриоль, прокрутила короткое фуэте и после быстрого поклона умчалась прочь, не оглядываясь.

В коридоре, пробегая вдоль рядов охраны, она налетела на знаменитого баса Максима Дормидонтовича Михайлова. Хотела извиниться, но не смогла произнести ни слова, во рту пересохло, язык прилип к нёбу. Михайлов мимоходом похлопал ее по плечу и прошествовал дальше, к сцене. Прежде чем проскользнуть назад, в проем между литыми высоченными створками, она услышала раскаты мощного баса Михайлова:

Степь, да степь кругом,
Путь далек лежит...

Остаток пути она прошла медленно, словно утопая до пояса в снегу и замерзая, как тот ямщик в глухой степи.

Оказавшись наконец в маленькой душевной комнате, она бессильно опустилась на вытертый коврик, уткнулась лбом в колени, выдохнула:

– Все...

Маша до последнего момента не верила, что ей придется выступить в Георгиевском зале, на концерте, посвященном шестидесятилетию товарища Сталина. Балет «Пламя Парижа» очень ему нравился, партия Жанны обязана была войти в программу, и непременно в исполнении его любимой балерины Ольги Лепешинской. Но Лепешинская упала на репетиции и повредила голеностоп. Другая прима Большого, Марина Семенова, была вдовой врага народа, недавно расстрелянного Карахана, и допустить ее к участию в юбилейном концерте не могли.

Маша уже год танцевала Жанну во втором составе. В чью-то административную голову пришла идея – не менять утвержденную дюжиной инстанций программу, а поставить другую исполнительницу. В Большом зале консерватории, где проходили репетиции концерта, Маша трижды станцевала перед комиссией. Комиссия одобрила. В тот же день ее вызвали в зловещую комнату возле канцелярии, в кабинет главного кадровика Большого театра.

Суетливый толстяк с бледным плоским лицом и неуловимым взглядом не поздоровался, не предложил сесть, спросил сурово, осознает ли она всю степень ответственности? Понимает ли, какая величайшая честь ей оказана? Готова ли оправдать доверие партийной организации, коллектива, всего советского народа? На «советском народе» кадровик глухо закашлялся, глотнул воды, расплескав из стакана несколько капель на стол, и вместо просто «Крылова», обратился к Маше «товарищ Крылова», перешел на «вы», поднялся, повернулся лицом к портрету на стене, поднял руку, сложил пальцы в щепоть. Маше показалось, что кадровик сейчас пере-

крестится. Он держал руку поднятой минуты две, пока произносил, вернее, пел остаток речи. Маша подумала, что с таким сладким тенором он сам бы мог участвовать в концерте.

Исполнив свою партию, тенор уронил руку, сел на место и уже другим, не концертным голосом, отрывисто и деловито пролаял:

– Завтра в двенадцать часов машина заберет вас из театра. Вы должны быть полностью готовы. При себе никаких вещей. Только документы.

– А костюм? – изумленно спросила Маша.

– Сказано: полностью готовы. Переоденетесь заранее, в театре.

– Мороз тридцать градусов, я окоченею...

– Вы ж не по улице пойдете. Сказано: машина заберет.

– А грим?

– Тоже заранее.

– Обязательно перед выходом надо поправить грим, и потом, расческа, запасные шпильки, канифоль...

– Что-о? – прошептал кадровик, бледнея, словно речь шла о холодном оружии и взрывчатом веществе.

– Шпильки для волос, канифолью натирают подошвы балетных туфель, чтобы не скользили, – объяснила Маша.

После долгих пререканий ей дозволено было взять с собой только туфли и грим.

Маша давно привыкла к проверкам и досмотрам. Когда в театр приезжали члены Политбюро, он весь наполнялся охраной, в форме и в штатском, но тут, на территории Кремля, творилось нечто особенное.

От Спасских ворот до Большого Кремлевского дворца красноармейцы стояли в два ряда, между рядами гуськом шли участники концерта к артистическому входу. Охрана дважды рылась в сумке, сначала у ворот, потом на входе во дворец. Прощупали стельки балетных туфель, потребовали выложить на стол содержимое карманов шубы, заставили снять вязаную кофту, которую Маша накинула на костюм, размотать оренбургский платок. Все протрясли и прощупали. Фамилию на спецпропуске без конца сверяли со списком, с фамилией в паспорте, лицо – с паспортной фотографией. Десятки глаз впивались, просвечивали насквозь, отслеживали каждое движение.

Машу вначале отправили в большую артистическую, где разместился ансамбль песни и пляски Александрова. Там было тесно, танцовщики по очереди разогревались, Маше не хватило стула. Пока она искала, где приткнуться, прошел слух: концерт отменяется. Рядом зашептали, что из-за плохих дел на Финском фронте товарищ Сталин раздумал праздновать свой юбилей. Кто-то возразил, что концерт состоится, но поздно ночью, когда закончится заседание. Все это были только слухи, точно никто ничего не знал. Вдруг Маша услышала свою фамилию, испугалась, что прямо сейчас позовут на сцену, но нет, двое красноармейцев, как под конвоем, повели в отдельную артистическую. По дороге она решилась спросить, правда ли, что концерт отменят, но ответа не получила. Спросила, есть ли тут уборная. Ответили: в конце коридора, правая дверь.

В крошечной комнатке, наедине с облезлым канцелярским столом, стулом и мутным зеркалом пришлось провести почти шесть часов. На столе стоял графин, накрытый стаканом. Маша использовала спинку стула в качестве станка, разогревалась, разминалась, пила мелкими глотками кипяченую воду, причесывалась, поправляла грим. Время тянулось страшно медленно, в какой-то момент стало казаться, что она сидит тут уже несколько суток. Дважды без стука распахивалась дверь, на пороге возникали фигуры в форме. На робкое «здрости» никто не отвечал. Молча смотрели и уходили.

Когда ее вызвали, она не поверила своим ушам, дико занервничала, заметалась, хватая то расческу, то банку румян, в последний момент заметила, что оборка юбки держится на соплях

и может оторваться во время танца. Проклиная себя, что не закрепила заранее эту несчастную оборку, захлебываясь стуком сердца, Маша просеменила по коридору и через минуту оказалась на скользкой сцене Георгиевского зала.

Никогда она не танцевала партию Жанны с таким азартом. Унижение, страх, злость переполнили ее, и танец получился как взрыв. Она ни разу не поскользнулась при сложных приземлениях, оборка не оторвалась. Товарищу Сталину понравились высокие прыжки, долгие фуэте, незапланированный кабриоль. Завтра в «Правде» появится сообщение ТАСС о концерте, в списке участников будет ее фамилия. Но ни радости, ни облегчения она не чувствовала, боялась взглянуть в зеркало, сидела на вытертом коврике у стола, обняв дрожащие колени, тихо повторяла:

– Все, все, все...

* * *

Сотрудникам Особого сектора присутствовать на кремлевских банкетах и концертах не полагалось. Особый сектор был теневым кабинетом, личным секретариатом Сталина. Двенадцать спецреферентов, составлявших для Хозяина аналитические сводки по всем областям государственной жизни, держались даже не в тени, а практически в небытии. Об их существовании знали только члены Политбюро, высшие чины НКВД, некоторые наркомы и узкий круг кремлевской obsługi. Для остального мира внутри и снаружи СССР товарищ Сталин самостоятельно, без чьей-либо помощи, ежедневно переваривал мегатонны информации, прочитывал тысячи страниц документов, газет, журналов, писем трудящихся, никогда не спал, все успевал, все знал.

Илья Петрович Крылов, сотрудник Особого сектора, спец-референт по Германии, ждал жену в артистическом подъезде. Его удостоверение позволяло ему войти куда угодно на территории Кремля, но сегодня в Большой Кремлевский дворец пускали только по спецпропускам, с подписью Власика, начальника сталинской охраны. Чтобы получить такую бумажку, Илья Петрович должен был обратиться с просьбой к самому Хозяину. Ни Власик, ни Берия не решились бы нарушить неписаный закон и позволить спецреференту явиться на юбилейный концерт. Разумеется, Хозяин знал, что солистка балета Мария Крылова, которая сегодня танцует вместо Лепешинской, – жена товарища Крылова. Два года назад он лично поздравил их по телефону с законным браком и прислал букет роз, выращенных собственноручно в теплице. Но с тех пор ни разу не поинтересовался семейной жизнью своего спецреферента. Бог миловал. Никогда ничего хорошего такой интерес не сулил. Илья давно твердо усвоил: если есть возможность не напоминать Хозяину о себе и о своих близких, то не стоит этого делать.

О времени Машиного выхода Илья узнал от Поскребышева, личного секретаря Хозяина и своего непосредственного начальника, и ждал ее в артистическом подъезде у поста охраны.

Когда он вошел в подъезд и показал удостоверение, его ни о чем не спросили. Рядовые охранники вытянулись в струнку. Но появился один из адъютантов Власика, пришлось еще раз показать книжечку и объяснить, что он тут ждет жену, артистку балета.

– Крылова? – уточнил адъютант. – «Пламя Парижа»?

Илья кивнул.

– Закончила уже выступать, сейчас выйдет. – Адъютант неожиданно улыбнулся. – Здорово пляшет супруга ваша, товарищ Крылов.

– Спасибо. – Илья улыбнулся в ответ и увидел Машу.

В ярком электрическом свете лицо ее казалось неживым, кукольным, наверное, из-за грима. Она шла в накинутой на плечи поверх сценического костюма шубе. Оренбургский платок свисал из рукава и волочился по малиновой ковровой дорожке. Вблизи Илья заметил, что глаза у нее воспаленные, мокрые.

– Ой, Илюша, ой-ой-ой, – бормотала она, пока он помогал ей одеваться.

По дороге от Спасских ворот к Васильевскому спуску, где Илья оставил свой «Бьюик», она не произнесла ни слова, тихо жалобно поскуливала. Когда сели в машину, Илья спросил:

– Домой?

– Нет, давай немножко покатаемся.

Пока он заводил мотор, она сидела, уткнувшись лбом ему в плечо, не шевелилась.

– Ну, ты чего? Мне сказали, ты танцевала здорово. Да я и не сомневался.

– Не знаю...

– Ты ела что-нибудь?

Она молча помотала головой.

– Поужинаем в «Национале»?

– Не хочу... Интересно, кто это придумал – сажать правительство спиной к сцене? Они так всегда сидят или только в честь его юбилея?

– Всегда. Они смотрели на тебя? Он смотрел?

– Сначала косился, шею выворачивал, потом стул под ним развернули. Ему понравилось, он хлопал и улыбался... Георгиевский зал очень красивый, бело-золотой, торжественный, только сцена ужасно скользкая, хорошо, у ансамбля Александрова был ящичек с канифолью, я успела подошвы натереть, а то бы непременно грохнулась.

Голос ее звучал уныло, Илья вел машину и видел краем глаза заострившийся профиль. Прядь выбилась из-под платка, ресницы дрожали.

– Что тебя мучает, Манечка?

– Ничего. Просто очень устала. Тяжело танцевать, когда они так близко и свет яркий... Может, поэтому их спиной к сцене и сажают, чтобы артистов не смущать?

– Интересная мысль.

– Мг-м... Останови, пожалуйста, давай подышим.

– Холодно, поедem домой.

– Капельку погуляем.

Илья остановился в Лебяжьем переулке, они вышли на набережную. Мороз немного ослаб, ветра не было, небо заволокло светлой кисеей облаков, мелкий редкий снег сверкал под фонарями и казался звездной пылью.

– А в Ленинграде затемнение. – Маша поймала варежкой снежинку.

– Ну, прифронтовой город.

– Бедный, бедный Май. За что ему такой ужас?

«Вот в чем дело», – подумал Илья.

Он ждал, что рано или поздно она заговорит об этом. Еще до начала Финской войны, в октябре, призвали в армию ее давнего друга и партнера Мая Суздальцева.

Май был ленинградец, в Москву переехал к бабушке, после того как его родителей посадили. Бабушка умерла, он остался один, жил в общежитии. Солиста из него не вышло. Пару лет назад он вполне удачно исполнил партию Злого петуха в балете «Аистенок», получил еще несколько второстепенных партий, но после смерти бабушки и замужества Маши, в которую он был влюблен, что-то в нем надломилось. Май танцевал все хуже, пропускал репетиции.

Неделю назад в Москву из Ленинграда приехала Агриппина Яковлевна Ваганова, лучший в СССР педагог-репетитор. Она приезжала два-три раза в году, давала индивидуальные уроки солистам Большого.

Май когда-то учился в Мариинке у Вагановой.

Однажды после занятий Агриппина отозвала Машу в сторонку и передала письмо от Мая, сопроводив его скупым комментарием, что мальчик в госпитале, пулевых ранений нет, но отморожены ноги. Она потребовала, чтобы письмо Маша прочитала при ней и сразу вернула.

Маша рассказала об этом Илье только вчера вечером, шепотом, в ванной, при включенной воде.

– Одну ногу ему ампутировали, вторую удалось спасти. Агриппина хлопчет, чтобы после выписки оставить его в Ленинграде, устроить в Кировский, в реквизитные мастерские. Знаешь, там, в госпитале, почти все обмороженные. После ампутаций москвичей и ленинградцев высылают подальше, ну, чтобы не портили своим видом красоту главных советских городов. Говорят, специальный приказ Ворошилова...

Ночью в ванной Илья слушал ее и не задавал вопросов. Он знал, что такой приказ действительно есть.

Утром он сказал ей:

– У тебя сегодня день очень ответственный. Будь, пожалуйста, внимательной, разумной и осторожной. Ничего не бойся, ни о чем постороннем не думай.

Очень ответственный день кончился. Маша, усталая, слабенькая, опять стала думать о постороннем.

– Как ему жить без ноги? Что с ним будет?

– Может, денег ему послать?

– Это само собой. – Она кивнула. – Я собрала для него семьсот рублей, зарплату свою и кое-что от концертов, хотела съездить в Ленинград, навестить...

– Съездить в Ленинград? – удивленно переспросил Илья. – Ты ничего не говорила.

– Да, меня все равно не отпустили, тут еще этот юбилей...

– Передала бы деньги Агриппине.

– Она не взяла. Сказала, чтобы я сама к нему съездила, навестила. Господи, ведь его практически убили...

– Перестань! Он жив, голова и руки целы, привыкнет к протезу, освоит какую-нибудь новую профессию, и ты его обязательно наведишь. Ну, что же делать? Война...

– Война? Они там даже не успевают воевать, рвутся на минах и замерзают. Обмундирование летнее, на ногах кирза, на головах буденновки, при сорока градусах мороза. Зачем? Кому это понадобилось? Ну, скажи, финны напали на нас?

– Ты неправильно ставишь вопрос. На Карельском перешейке граница проходит слишком близко от Ленинграда, для безопасности ее нужно отодвинуть.

– Ты мне будешь «Правду» цитировать? Политинформацию решил провести? – Маша подкинула носком сапога ком снега. – Не надо, не трудись, про границу я уже наизусть знаю, и про то, что белофинская военщина развязала против нас агрессию, а финские трудящиеся бедняки с нетерпением ждут доблестную Красную армию, чтобы освободила их от гнета помещиков-капиталистов.

– Это не совсем так...

– А как?

– Ну, видишь ли, на самом деле границу от Ленинграда лучше отодвинуть, для безопасности...

– И поэтому финны на нас напали? – она резко остановилась, взяла его за плечи и слегка потрясла. – Илюша, тебя от вранья не тошнит?

– Будешь меня трясти, затошнит от качки. – Он поправил ее сбившийся платок. – Это не вранье, Манечка, это называется генеральная линия партии.

– Хорошая линия, правильная, посылать мальчишек необученных в летнем обмундировании в сорокаградусный мороз на минные поля. – Маша развернулась и быстро пошла вперед.

Илья догнал ее, пошел рядом, заговорил мягко, тихо:

– Я много раз объяснял: обсуждать такие вещи бессмысленно. Если я скажу: финны не собирались на нас нападать, напали мы, а они защищают свою страну, – от моих слов что-то изменится? Будет заключен мир? Погибшие оживут, а у твоего Мая вырастет новая нога?

– Нет, Илюша, погибшие не оживут, и Май останется калекой. Но изменится многое, для нас с тобой, потому что ты перестанешь мне врать.

В последнее время подобные разговоры случались все чаще. В тридцать седьмом, когда они только поженились и стали жить вместе в его казенной квартире на Грановского, Маша строго соблюдала табу, не касалась опасных тем, она привыкла к этому с детства. Могла прошептать, что кого-то взяли, или тихонько рассказать, какой бред нес партийный секретарь на собрании. Но все это быстро забывалось, она танцевала много и успешно, радовалась, когда давали роль в новой постановке или получался очередной сложный прыжок. Если прыжок не получался, она отрабатывала его часами, сутками, до изнеможения, пока не добивалась своего. Если роль давали другой танцовщице, Маша огорчалась, злилась, но не слишком. Ворчала, что у той, другой, руки совсем невыразительные, корпус вялый, что распределением ролей теперь ведает партком, вручает, как премии за активную общественную работу.

Впрочем, пожаловаться на недостаток ролей Маша не могла, и заниматься для этого общественной работой ей пока не приходилось. Да и вообще, все у нее было хорошо. Родители живы-здоровы, папа, инженер-авиаконструктор, проскочил тридцать седьмой, когда в авиационной промышленности брали каждого третьего, и тридцать восьмой, когда брали каждого пятого из уцелевших. Сейчас, в конце тридцать девятого, страх отпустил. Некоторых арестованных выпускали. Люди приходили в себя, дышали свободней, охотно верили, что во всем виноват Ежов, так же как до него – Ягода. Теперь виновные разоблачены, сурово наказаны, наконец справедливость восстановлена. И Маша верила.

Илья изо всех сил поддерживал ее веру, внушал, что бред образца тридцать седьмого никогда больше не вернется. Простая возможность спать ночами, не вздрагивая от каждого звука под окнами и за дверью, удивительно преобразила Машу, она как будто выздоровела после долгой болезни, расцвела, похорошела.

Илья любил смотреть, как она просыпается по утрам. Он всегда уходил на час-полтора раньше и будил ее перед самым уходом. Она обнимала его за шею, сквозь сладкий зевот бормотала:

– Поцелуй...

Он целовал ее в глаза, и только тогда она разжимала веки, потягивалась, ежилась, осторожно вытянутым мыском касалась пола и вдруг вскакивала с кровати, встряхивала волосами, всплескивала руками, принимала каждый новый день благодарно и радостно, как драгоценный подарок.

Однажды она сказала:

– Знаешь, в тридцать седьмом я постоянно чувствовала, как у меня все внутри сгорает. Был привкус пепла во рту, я зубы чистила три раза в день, не помогало. Даже любовь сгорала, ничего от нее не оставалось, кроме страха потери. Если бы это продлилось еще немного, я бы умерла.

– Ну, не надо, не преувеличивай.

Он хотел, чтобы она забыла, старался свести для нее пережитый ужас к недоразумению, к чему-то вроде несчастного случая, выпадающего из ясной и здоровой логики жизни. Он пытался объяснить необъяснимое, выстраивал словесные конструкции, изредка удачные, а в основном неуклюжие.

Маша ездила с концертами в провинцию. Рязань, Воронеж, Псков, Вологда, колхозы Нечерноземья с волшебными названиями: «Залог пятилетки», «Путь к сознанию», «Мечты Ильича». Возвращаясь, рассказывала, как ужасно люди одеты, везде грязь, вши, нищета, и очереди, бесконечные, неистребимые, за хлебом, за мылом, в магазинах ничего, кроме ржавой селедки. Ну ведь огромная, богатая страна, люди работают, работают, куда же все девается?

Илья бормотал про гигантские стройки пятилеток, тяжелую промышленность, индустриализацию, домны, самолеты, танки, ледоколы.

– Люди жрать хотят! Какие домны? Дети босые ходят до холодов, одежда латаная-перелатаная!

Илья думал: ну ведь умудряются другие не замечать всего этого, а видят изобилие, тяжелую промышленность, домны-ледоколы, спортивные рекорды, счастливых румяных пионеров и комсомольцев.

Об очередях за хлебом, о вшивости, о босых детях, латаной-перелатаной одежде сообщали в секретных сводках сотрудники областных НКВД. Им по должности полагалось видеть и сообщать.

Илья знал, что Маша никогда ни с кем, кроме него, своими впечатлениями делиться не будет, осторожность в разговорах с чужими давно стала инстинктом, но осторожно думать и чувствовать она не могла. Приучать ее к этому было все равно что бить по-живому, втаптывать назад, в тридцать седьмой.

Словесные конструкции рушились, он ускользал от разговора, менял тему, обнимал, целовал, вытаскивал, как фокусник, из рукава купленную в распределителе шелковую блузку, флакон духов, хватал Машу в охапку, кружил по комнате, зажимал ей рот губами.

И сейчас, чтобы прекратить разговор о бедном Мае, о Финской войне, он обнял ее, стал целовать.

– Пожалуйста, не ври мне, – попросила Маша, увернувшись от его губ, – не можешь ответить – так и скажи: не знаю, или просто промолчи, только не повторяй передовицы «Правды».

– Хорошо, я попробую. – Илья взял ее под руку, они пошли дальше по набережной.

Слева, за Москвой-рекой, высилась гигантское мрачное сооружение, жилой дом Советов ЦИК и СНК. Справа был черный провал, мертвая зона, огороженная деревянным забором, на заборе масляной краской намалевано: «Строительство Дворца Советов». Маша замедлила шаг, провела варежкой по забору и сказала:

– Я помню, как взрывали. Сначала сбили кресты, ободрали купола, как будто живое существо обглодали до костей, а потом грохот, черный дым.

– Ты же маленькая была.

– Большая, в тридцать первом мне было тринадцать. Мы с Катей иногда после уроков шли гулять от училища, от Неглинки, мимо Большого, через Театральную площадь, через Красную, по Александровскому саду, к Волхонке. Вот послушай:

Город мой такой большой,
в нем театр живет Большой,
есть трамваи и мосты,
милицейские посты,
есть домишки и домищи,
в них умишки и умищи.
На Волхонке красота:
храм Спасителя Христа.

Маша иногда сочиняла короткие стишки, не записывала их и никому, кроме Ильи, не читала. Илья пытался запоминать, понимал, что нельзя такое записывать, но сохранить хотелось.

– Хорошее стихотворение, я его раньше не слышал. Ты когда написала?

– Очень давно, лет в десять, пока храм еще стоял. Зачем взорвали? Сколько красоты погубили! Там были скульптуры Клодта, фрески Крамского, Сурикова, Верещагина. Зачем?

– Ладно, поедem домой.

– Поедем... А все-таки интересно, кому помешал Христос Спаситель? Вот вам яма вместо храма...

Пока шли к машине, она шептала что-то в ритме шагов, Илья прислушался и разобрал слова:

Вот вам яма вместо храма,
ну-ка, дружно славьте хама,
жуйте ложь, месите грязь,
славьте хама, не стыдясь.

Маша охнула, испуганно взглянула на Илью.

– Оно само сложилось, только что, сию минуту, вырвалось нечаянно, я не виновата.

* * *

Вера Игнатьевна Акимова проснулась в десять вечера. После суточного дежурства она возвращалась рано утром, за первую половину дня успевала кое-что сделать по дому, часам к четырем глаза слипались, все валилось из рук, она ложилась, обещала себе, что подремлет совсем недолго, заводила будильник, но, когда он звенел, выключала его на ощупь, не открывая глаз, и спала дальше.

Накинув халат, Вера Игнатьевна заглянула в смежную комнату, там горела настольная лампа, сын, сгорбившись, сидел за столом. Перед ним лежала открытая тетрадь, несколько книг. В круге света было видно, что тетрадь исписана длинными формулами. Четырнадцатилетний Вася в последнее время увлекся физикой, собирал приборы из лампочек, проводков, вязальных спиц и консервных банок, пропадал в кружке «Юный физик», в библиотеке, приносил домой журналы и книги, в которых было формул больше, чем слов, сидел над ними до глубокой ночи.

Вера Игнатьевна подошла к сыну, шлепнула по спине:

– Не горбись. Маша звонила?

– Мг-м.

Спину он выпрямил, но не обернулся, стал быстро писать что-то в тетради.

– Как она выступила?

– Нормально.

– Ты с ней говорил или папа? Кстати, где он?

Обычно, когда Вася углублялся в свою физику, Вера Игнатьевна старалась не беспокоить его, ограничивалась одним-двумя вопросами, и короткое мычание в ответ ее не обижало. Но сегодня был вовсе не обычный вечер. Маша, старшая дочь, танцевала в Кремле на банкете перед Сталиным, и Вера Игнатьевна считала, что ради этого можно отвлечься от формул на пару минут.

Вася так не считал, он ответил только на последний вопрос:

– Папа у Карла Рихардовича, – послунывил чернильный карандаш и продолжил писать.

Вера Игнатьевна хотела сказать ему: «Вася, так нельзя, твоя сестра танцевала перед Сталиным в день его рождения, а тебе все равно, тебя совершенно ничего не волнует, кроме приборов и формул, ты становишься холодным эгоистом». Но она решила, что скажет это в другой раз, и, завязав потуже поясок халата, сунув ноги в тапочки, отправилась через коридор, в комнату соседа.

– Ну что, Петя, как? Ты говорил с ней? – спросила она, едва переступив порог, и, спохватившись, добавила: – Добрый вечер, Карл Рихардович.

Муж и сосед сидели за маленьким журнальным столом и, судя по выражению их лиц, были настолько увлечены беседой, что не поняли ее вопроса.

– Вера Игнатьевна, заходите, присаживайтесь. Налить вам чаю? – любезно предложил сосед.

– Веруша, ты проснулась. – Муж растянул губы в дурацкой улыбке.

– Нет, Петя, я еще сплю. – Вера Игнатьевна нахмурилась.

– Я все-таки налью вам чаю, – сказал сосед.

– Спасибо, не нужно, я на минуту, я только хочу узнать: Маша звонила?

Оба одновременно взглянули на часы и ответили хором:

– Нет.

От обиды у Веры Игнатьевны задрожали губы. Получалось, что Вася промышчал свое «мг-м» и «нормально» просто так, лишь бы она отстала. А Петя, кажется, вообще забыл, какой сегодня день.

– Веруша, ну что ты? – Муж поднялся, подошел, обнял ее. – Можно подумать, у Мани первый в жизни сольный выход. Партию Жанны она танцевала сто раз, это всего лишь сцена...

– Всего лишь! – Вера Игнатьевна передернула плечами, скидывая его руку. – А нервное напряжение? Они сидят не в правительственной ложе, а в зале, прямо перед ними танцевать, совсем близко... Малейшая ошибочка, неправильное выражение лица... Господи, подумать жутко! Да одно то, что она танцует вместо его любимой Лепешинской, может вызвать раздражение!

– Веруша, сидят они за банкетным столом, едят, пьют, разговаривают, на сцену почти не смотрят. Ну, помнишь, Володя Нестеров рассказывал, он был в Георгиевском зале в декабре тридцать шестого как передовик-рационализатор...

– Петя! – жалобно вскрикнула Вера Игнатьевна. – Что ты говоришь? Володю взяли через три месяца после того банкета!

– Вера, у тебя спросонья каша в голове, после не значит вследствие, то есть, я хочу сказать, Володю взяли не потому, что он был на банкете...

– А почему?!

– Ладно, прости, я не прав, действительно, не стоило сейчас вспоминать Володю, но я хочу сказать... – Петр Николаевич совсем запутался и растерялся.

– Особенная любовь к Лепешинской, возможно, миф, – осторожно заметил Карл Рихардович, – Маша танцует лучше...

Он не успел договорить, зазвонил телефон. Вера Игнатьевна помчалась в коридор и услышала спокойный голос зятя:

– Все хорошо, она сразу уснула, очень устала, танцевала великолепно.

– Ты видел?

– Нет.

– Разве ты не был в зале?

– Нет.

– Почему?

Последовала короткая пауза, Илья кашлянул и продолжил так, словно не услышал вопроса:

– Вера Игнатьевна, не волнуйтесь, завтра после спектакля Маша зайдет и все вам подробно расскажет.

– Завтра я дежурю.

– Тогда послезавтра. Она позвонит вам в любом случае.

Вера Игнатьевна пожелала зятю спокойной ночи, заглянула к соседу, сказала, что все в порядке, вернулась к себе, улеглась на диван, раскрыла на заложенной странице свежий номер журнала «Хирургия», но строчки прыгали перед глазами. В голове крутился разговор, и, как заноза, цеплял собственный идиотский вопрос: «Почему?» Неслучайно Илья оставил его без ответа, и сразу изменилась интонация.

«Ерунда, я просто перенервничала, это вполне естественно, к тому же я очень скучаю по Манечке, давно ее не видела. А без нее в этом доме и поговорить не с кем... Ладно, пора привыкнуть. Девочка выросла, вышла замуж за умного, доброго, надежного человека, по большой взаимной любви. Отдельная квартира, всем обеспечены... У него должность...»

На слове «должность» внутренний монолог оборвался. Это была болевая точка. Мысль о том, где служит ее зять, прошибала током, пульс частил, руки дрожали, и каждый разговор с Ильей или с Машей по телефону вызывал рефлекторный ужас, как у лабораторного животного.

Телефон в квартире на Грановского прослушивался, вся их жизнь прослушивалась, прощупывалась, просвечивалась рентгеном. Ей часто снился один и тот же кошмар: Маша мечется в прозрачной клетке, а вокруг, за стеклами, темные тени, смотрят, тянут ледяные пальцы.

Вера Игнатьевна работала хирургом в кремлевской больнице, отлично знала, что такое высокая должность и близость к власти.

«Есть вещи, о которых думать нельзя». Она повторяла эту фразу про себя и вслух. Закливание помогало, но не всегда.

В смежной комнате за перегородкой грохнул стул. Фанерная дверь открылась. Вася, как всегда, забыв тапки под столом, почесывая сморщенный нос и бормоча что-то, подошел к буфету, взял из вазочки горсть карамели, хотел вернуться к себе, но Вера Игнатьевна окликнула его:

– Посиди со мной, пожалуйста.

Он развернул конфету, кинул в рот, промычал свое «мг-м», но все-таки присел на диван. Вера Игнатьевна обняла его, уткнулась лицом ему в спину.

– Мам, ты чего?

– Ничего, сынок, все в порядке, просто соскучилась по тебе.

– Ну, ты даешь! Это Маня от нас слиняла, а я пока тут, рядом. Кстати, как она отплясалась, не знаешь?

– Знаю. Хорошо отплясалась.

– Кто бы сомневался. Что ты психуешь, мам? Может, ей теперь «заслуженную» дадут. Ладно, я пойду.

– Чаю хочешь?

– Мг-м.

Вера Игнатьевна отправилась заваривать чай. За маленьким кухонным окном покачивался в темноте старый тополь, он рос так близко к дому, что, когда дул ветер, ветки мягко, приветливо постукивали по стеклу. Вспыхнул веселый синий венчик огня под чайником, зашуршали сухие чайники. На кухне было тепло и чисто. Вера Игнатьевна потеряла глаза, как будто проснулась только что, зевнула, потянулась и проворчала:

– Петя, обормот, месяц почти не виделись, вместо того чтобы побыть с нами, застрял у соседа. Курят до одури, а Васька конфетами зубы испортит.

* * *

Пару дней назад Петр Николаевич Акимов вернулся из Иркутска, он был там в командировке на новом авиационном заводе и неожиданно встретил своего бывшего университетского преподавателя Мазура Марка Семеновича, профессора-радиофизика.

В марте тридцать шестого Мазур стал академиком, а в мае его посадили. Акимов видел несколько газетных публикаций, в которых Мазура величали «саботажником, идеалистом-вредителем, троцкистским вырождением от науки».

В январе тридцать девятого десять лет тюрьмы заменили ссылкой, поселили в Иркутске, позволили преподавать в Иркутском горно-металлургическом институте.

Мазур снимал маленькую холодную комнату в двухэтажном деревянном доме позапрошлого века, неподалеку от института. Они проговорили всю ночь. Марк Семенович совал Акимову свои тетради, исписанные формулами, исчерченные схемами, взахлеб рассказывал о резонансном усилении световой волны и уровнях импульсных излучений.

Акимов вначале слушал рассеянно. Когда-то он увлекался радиофизикой, но это было давно, он успел многое забыть, к тому же спать хотелось.

– Можно выборочно ионизировать изотопы, извлекать положительно заряженные ионы, ловить их электромагнитной ловушкой, скапливать на металлической пластине, – объяснял Мазур.

Акимов согласно кивал, еле сдерживая зевоту.

– В промышленном масштабе можно получить быстро и недорого несколько килограммов обогащенного урана, – продолжал Мазур.

– Урана? – переспросил Акимов и потер кулаками глаза.

– Проснулся наконец! – обрадовался Мазур.

Он еще раз начал объяснять принцип действия прибора, над которым работал уже лет двадцать. Собирал, разбирал, совершенствовал, испытывал, придумывал все новые варианты.

Два с половиной года в одиночной камере ярославской тюрьмы подорвали здоровье, зато обострили память. Невозможно было ни читать, ни писать, но иногда удавалось думать. В голове сложилось несколько любопытных комбинаций.

Как только выпустили, Мазур все записал, просчитал. В институтской лаборатории собрал и начал испытывать новый опытный образец. Бывший студент Петя Акимов оказался первым и единственным человеком, которому Марк Семенович решился рассказать о результатах испытаний.

– Надо срочно опубликовать, запатентовать, – ошеломленно прошептал Акимов.

Но Марк Семенович в ответ упрямо мотал головой. Пятьдесят восьмую статью с него не сняли. Ни один редактор ни одного научного журнала опубликовать не решится. Он панически боялся повторного ареста, не сомневался: только высунешься, напомним о себе, мгновенно возьмут. Писать коллегам-физикам в Москву и Ленинград он тоже не желал, уверял, что, во-первых, из-за переписки с осужденным врагом народа могут быть неприятности. Во-вторых, даже в лучшие времена, когда он был свободным и уважаемым ученым, к самой идее резонатора коллеги относились скептически.

Под утро Акимов все-таки уговорил его изложить суть дела в письменной форме. Писать заявку об изобретении в Патентное бюро, в Академию наук, Мазур категорически отказался. В итоге вышло письмо без адреса, без обращения.

На прощанье старик сказал: «Спасибо, Петька, такая ответственность мне одному не по силам. Если бы не ты, я бы скоро допсиховался до инфаркта. После тюремной преисподней сдохнуть в этом иркутском раю обидно».

Встреча с Мазуром ошеломила Петра Николаевича. В поезде, по дороге домой, он не мог спать. Письмо жгло руки. Он перечитывал его и думал: кто знает, чем обернется для старика вся эта история? Могут вернуть в Москву и наградить, а могут арестовать. Запросто! Повторный арест для Марка Семеновича означает смерть. Однако не дать хода письму, оставить все как есть невозможно.

Петр Николаевич собирался передать письмо своему зятю Илье и, лишь доехав до Москвы, осознал, насколько сложно это сделать. Внешне отношения с зятем были вполне дружеские, но заоблачная сверхсекретная должность Ильи создавала вокруг него непроницаемое силовое поле. По его лицу никогда нельзя было понять, что он думает и чувствует. Петру Николаевичу казалось, что человек, приближенный к самому Сталину, должен иметь стальные чувства и кристально ясные мысли. Ильи напоминал идеального большевика из кинофильма про хорошую, правильную советскую жизнь, в которой арестовывают только матерых врагов, шпи-

онов и вредителей, а честных граждан – никогда. Заговорить с таким человеком о ссыльном профессоре было все равно что на собрании проголосовать против линии партии или свистнуть, когда полагается аплодировать.

Акимов готов был одолеть свой зажим, но Илья пропадавал на службе до ночи. Звонить ночью домой? Объяснять намеками, мол, произошло кое-что важное, не телефонный разговор, необходимо срочно встретиться? Телефон на Грановского слушают, и кто знает, как истолкуют такие намеки? Да и когда сумеет Илья выкроить несколько часов? Он своим временем не распоряжается. А за двадцать минут человеку, далекому от физики, ни черта не объяснишь.

Акимову предстояло скоро опять ехать в командировку. Он не мог тянуть, ждать подходящего случая и решил, что разумней всего передать письмо через доктора Штерна. Он знал, что они с Ильей каким-то образом связаны по службе, встречаются часто. Да и отношения с соседом были куда проще, чем с зятем. Не нужно звонить, договариваться. Достаточно пройти пару шагов по коридору и постучать в дверь.

Разговор длился третий час, но Штерн так ничего и не понял. Он начал было читать письмо, пролистал семь страничек скверной бумаги, исписанных мелким почерком с обеих сторон, увидел схемы, цепочки формул, покачал головой и положил странички на стол.

– Там вначале общая описательная часть, довольно понятно изложено, – уговаривал Акимов.

Карл Рихардович попробовал еще раз, но после первых двух абзацев решительно отказался. Он легко разбирал почерк, но путался в терминологии и попросил Акимова рассказать все своими словами. Тот принялся рассказывать и запутал доктора еще безнадежней.

– Расщепление ядра урана открыто всего год назад, – с жаром объяснял Петр Николаевич, – физики едва начали переваривать и сразу признали, что высвобождающаяся энергия может быть использована для создания сверхоружия, правда, пока только теоретически. В природном уране всего ноль целых семь десятых процента активно делящихся изотопов двести тридцать пять, чтобы создать критическую массу и запустить цепную реакцию...

– Петя, – взмолился Карл Рихардович, – про изотопы и критическую массу вы рассказываете уже в пятый раз, я, честное слово, не понимаю, зачем вам мое посредничество? Илья ваш зять, отдайте вы сами ему это письмо.

– Да не могу я! Не могу, не имею права, именно потому, что он мне зять, а я ему, – Петр Николаевич нервно защелкал пальцами, – как это? Деверь? Шурин? Ладно, не важно. Родственник. Тесть! Обращаться к нему с такими просьбами неэтично, бестактно.

– Что же тут бестактного? – мягко спросил доктор.

– Автор письма в ссылке, – прошептал Акимов, сморщился и помотал головой, – к тому же Илья постоянно занят, а я скоро опять уезжаю.

– Да, Илья человек занятой, это верно. – Доктор помолчал минуту, потом резко вскинул глаза: – Петя, а почему все-таки Мазур передал письмо именно вам? Было бы логичней обратиться в Академию наук, в Патентное бюро или к кому-нибудь из авторитетных физиков. Наверняка с кем-то у вашего профессора сохранились дружеские отношения.

– Дружеские отношения? – Акимов нахмурился. – После ареста, с приговором по пятьдесят восьмой? Не знаю... Он боится высываться, напоминать о себе. Два с половиной года одиночки не шутка. Я еле уговорил его написать, когда он мне рассказал. Вопрос настолько важный...

Доктор испугался, что опять речь пойдет об изотопах, и поспешно перебил:

– А если бы вы не уговорили, человечество так никогда и не узнало бы о гениальном изобретении профессора Мазура?

– Узнало бы рано или поздно. – Петр Николаевич нервно хрустнул пальцами. – Прибор, который он собрал, пока только первый образец, вроде эскиза. Он бы не спешил, дождался бы лучших времен, когда снимут статью. Но речь идет об уране, понимаете?

Доктор Штерн виновато улыбнулся и развел руками.

Петр Николаевич сунул в рот очередную папиросу.

– Я же объясняю, ядро урана расщепили год назад, это невероятно, ошеломительно, так же, как теория относительности Эйнштейна. Но теория относительности перевернула научное мировоззрение, а расщепление ядра урана может уничтожить мир.

– Так, минуточку. – Доктор помотал головой. – Вы сказали, ядро урана расщепил немецкий химик Отто Ган. При чем здесь советский радиофизик Марк Мазур?

Петр Николаевич сжал ладонями виски, пробормотал глухо:

– Господи, как же мне объяснить? Именно в связи с открытием Гана изобретение Мазура приобретает совершенно особое значение. Оно вроде маленького ключика к большому сундуку, который нашли, но отпереть не могут. Вот, смотрите. При расщеплении ядра выделяется колоссальная энергия. Но расщепляться, создавая цепную реакцию, может только крошечный процент изотопов. Для оружия, для бомбы, нужно выделить из огромной массы вещества именно этот крошечный процент. Ну, примерно как разыскать в гигантском стогу сена не иголку, а травинку, которая от миллиардов прочих травинок не отличается ни цветом, ни размером, ни запахом. Допустим, на нее когда-то покакала бабочка.

– Петя, бабочки не какают.

– Вы уверены? Ладно, они переносят пыльцу. Так вот, на нашей травинке микроскопические частицы пыльцы. Мы должны перебрать и рассмотреть под микроскопом весь стог, да не один, а десятки, сотни, чтобы получился небольшой букет таких травинок. Вот вам картина разделения изотопов урана. А теперь представьте: у нас есть прибор, который не только окрасит нужную нам травинку в контрастный цвет, но и притянет ее, как магнит.

– И ваш Мазур придумал такой прибор?

– Да. Правда, сравнение с травинками не годится, потому что речь идет о кошмарных вещах. Выделяется энергия невероятной, фантастической силы, все сегодняшнее оружие – детские игрушки. Один самолет скидывает одну-единственную небольшую бомбу, и за считанные минуты огромный город превращается в развалины, гибнут сотни тысяч людей...

– От одной бомбы?

– Вот именно!

– Петя, хотите коньяку?

– Вы же не пьете!

– Иногда, чуть-чуть. Это хороший, армянский, пять звезд. И вот еще шоколад.

Бутылка стояла почти полная с прошлого Рождества. Карл Рихардович протер носовым платком пыльные рюмки, распечатал плитку шоколада.

– За здоровье профессора Мазура Марка Семеновича. – Он прищурился, посмотрел коньяк на свет. – Сколько, говорите, он просидел в одиночке?

– Два с половиной года.

Чокнулись, выпили. Акимов залпом, а доктор только слегка пригубил, поставил рюмку, закурил и после паузы тихо спросил:

– Петя, вы абсолютно уверены, что поступаете правильно?

– То есть?

– Ну, может, не стоит давать ход этому письму? Мазур не хотел его писать, вы уговорили. Зачем?

– Карл, я вас не понимаю...

– Прибор дает возможность сравнительно быстро сделать оружие чудовищной силы, верно?

– Да, именно так. Не за десять лет, а года за два. Точно рассчитать пока трудновато, нужны испытания в промышленном масштабе.

– Допустим, они пройдут успешно, и через два года появится первая небольшая бомба чудовищной разрушительной силы. Что дальше?

– Понятно что. Сбросят на кого-нибудь.

– На кого?

Акимов не ответил, сидел неподвижно, низко опустив голову. Папироса дымилась в пепельнице. Доктор молча загасил ее, сходил на кухню, вытряхнул окурки в помойное ведро, вернулся. Акимов сидел все так же. Наконец прозвучал хриплый шепот:

– Карл, я идиот. Три часа морочу вам голову научными тонкостями, а дело вовсе не в них. – Петр Николаевич поднял голову, взглянул доктору в глаза и произнес чуть громче: – Если прибор Мазура признают у нас, все равно потребуется слишком много времени, чтобы начать испытания в промышленных масштабах.

– Вы же сказали – наоборот, прибор сократит время...

– Когда уран есть, а у нас его нет.

– То есть как?

– Вот так. Урановых разработок на территории СССР нет. Месторождений полно, а добыча не ведется. – Акимов плеснул себе в рюмку коньяку, выпил залпом. – У нас не ведется, а там уже наверняка начали.

– Где – там?

– В Судетах, – пробормотал Акимов, – в Богемии. Там точно есть месторождения.

– Вы хотите сказать, уран добывают на территории Третьего рейха? – осторожно уточнил Карл Рихардович.

– Я не знаю. – Акимов тяжело вздохнул. – Точно узнать может только наша разведка. Марк Семенович так думает, и, в общем, это похоже на правду. Понимаете, он боится до смерти, ему ведь пришили шпионаж.

– Петя, вы, пожалуйста, успокойтесь, шоколадкой закусите, и я вас внимательно слушаю. Акимов сжевал кусок шоколаду, тяжело вздохнул.

– Прибор свой Марк Семенович начал разрабатывать давно, еще в двадцатых. Был у него друг, немецкий радиофизик Вернер Брахт. Когда-то они стажировались у Резерфорда, многие годы переписывались, встречались то в Копенгагене у Бора, то в Берлине у Планка, на конгрессах, семинарах. Так вот, Брахт тоже занимается импульсными излучениями, они с Мазуром двигались параллельно, делились идеями. Брахт работает в Институте физики Общества кайзера Вильгельма в Далеме¹, именно там, где Ган расщепил ядро урана. – Петр Николаевич встал, принялся расхаживать по комнате. – Брахт очень скоро соберет его, если уже не собрал, и тогда... Черт, а ведь если он действительно уже собрал, опубликовал...

– Петя, пожалуйста, откройте форточку, – попросил доктор, – мы с вами надымили.

Акимов поднялся на цыпочки, но до наружной рамы не дотянулся, и легко, как на пружине, вскочил на подоконник.

– Да вы настоящий акробат! – восхитился Карл Рихардович. – Вот в кого Маша такая прыгучая.

– У вас там крючок на одном винте болтается, напомните потом, я подкручу, – сказал Акимов, спрыгивая на пол.

Из форточки повеяло холодом, в комнату залетели снежинки. Акимов взял очередную папиросу, но закуривать не стал. Остановился напротив доктора и, глядя на него сверху вниз, тихо спросил:

– Вы понимает, что это значит?

– Не совсем.

¹ Далем – пригород Берлина.

– Это значит, что первая небольшая бомба чудовищной разрушительной силы может года через два появиться у Гитлера.

Доктор закашлялся, передернул плечами, заговорил медленно, монотонно, немецкий акцент заметно усилился:

– Лучшие физики из Германии уехали, Эйнштейн уехал еще в тридцать втором. Гитлер считает всю современную науку еврейской выдумкой, его бесят ученые, и вряд ли научные разработки щедро финансируются в рейхе.

Акимов нервно сглотнул, помотал головой:

– Для бомбы Эйнштейн не нужен. Там остались нобелевские лауреаты Гейзенберг, Планк, фон Лауэ. Остался химик Ган, который расщепил ядро. Идет война. Если кто-то сумеет растолковать Гитлеру, что такое урановая бомба, на ее производство будут выделены любые средства. Нужно сообщить Сталину, чтобы этим серьезно занялась наша разведка. Главное, найти радиофизика Вернера Брахта и попытаться... ну, не знаю, остановить его, перекупить, что угодно... если не поздно еще...

– Между СССР и Германией заключен мирный договор, – напомнил доктор.

– Ага, конечно. – Акимов криво усмехнулся.

– Гейзенберг, Планк, фон Лауэ, да и этот Брахт вряд ли согласятся делать такую бомбу для Гитлера, – доктор, не вставая, стянул с дивана плед и накинул на плечи, – они все-таки ученые, у них есть какие-то этические принципы, банальный здравый смысл...

Акимов знал доктора пять лет, привык к его акценту, перестал замечать. А тут вдруг резануло. К тому же лицо Штерна в эту минуту странно изменилось, застыло, стало похоже на гипсовый слепок. Губы сжались, глаза потускнели, провалились глубоко в глазницы, спрятались под лохматыми седыми бровями. Смотреть было неприятно. Он отвернулся и выпалил куда-то в сторону:

– Они немцы!

Он продолжал рассказывать по комнате, задел и едва не опрокинул торшер, но поймал его, поставил на место, покраснел и забормотал виновато:

– Простите, Карл. Я не то хотел сказать. Вот вы удрали из рейха, а они остались, значит, нацистский режим их вполне устраивает.

Лицо доктора стало прежним, появилась знакомая открытая улыбка, глаза ожили. Когда он заговорил, акцент смягчился и больше не резал ухо.

– Ничего, Петя, не стоит извиняться. Лучше объясните, каким же образом Мазур сделал свое открытие, если в СССР нет урана?

– Под Иркутском месторождение, – спокойно объяснил Акимов, – Марк Семенович знал о нем еще до революции, он просто собирает там урановую смолку, сколько нужно для экспериментов. А что касается этических принципов и здравого смысла... Знаете, что такое ученые? Конкуренция, тщеславие, азарт, дикое любопытство. Ядро урана расщепилось, процесс пошел, невозможно остановить исследования, даже если в результате получится урановая бомба. Рано или поздно они ее все равно сделают, не приведи господь, чтобы она досталась Гитлеру.

Послышался тихий стук, дверь приоткрылась, заглянула Вера Игнатьевна:

– Петя, ты совсем замучил Карла Рихардовича своей болтовней, тебе завтра вставать в семь.

– Извини, мы еще не закончили, – резко, почти грубо ответил Петр Николаевич.

– Да нет же, Петя, мы обо всем договорились. – Доктор взглянул на часы, присвистнул. – Ого, начало двенадцатого, поздно уже, вам в семь вставать, а мне в половине шестого. Забирайте его, Верочка, а то мы так до утра проговорим.

– Ладно, простите, что отнял у вас столько времени. – Петр Николаевич поднялся. – Так вы письмо передадите?

– Конечно, передам.

– Какое письмо? – тревожно спросила Вера Игнатьевна.

– Потом объясню, пойдем спать, Веруша.

Карл Рихардович пожелал им спокойной ночи. Дверь они прикрыли за собой неплотно, из коридора донесся испуганный голос Веры:

– Это от Мазура письмо? Ты с ума сошел? Зачем ты впутываешь Карла Рихардовича? Кому он передаст? Еще только не хватало впутать Илью... Не вздумай! Твой Мазур просто помешался на своих излучениях, он больной человек, после двух с половиной лет одиночки, в Иркутске...

Акимов загудел в ответ что-то сердитое, слов Карл Рихардович не разобрал. Он закрыл дверь плотнее, подошел к окну, уперся лбом в холодное стекло.

Глава вторая

Белоснежка и гномы весело отплясывали в уютном кукольном домике, а тем временем ведьма в страшном замке наедине с черепом и вороном готовилась убить Белоснежку. Яблоко на веревочке опустилось в чан с ядовитым зельем и почернело. Дети в зале смеялись, замирали, вскрикивали. Когда ведьма в облике вкрадчивой старухи уговаривала Белоснежку откусить яблоко, из первых рядов звучали детские голоса: «Нет, не ешь, оно отравлено! Прогони ее!»

Доцент кафедры экспериментальной физики Института физики Общества кайзера Вильгельма Эмма Брахт, высокая русоволосая дама тридцати пяти лет, пришла в воскресенье на дневной сеанс, чтобы посмотреть «Белоснежку» в третий раз.

Эмма влюбилась в диснеевские мультфильмы с первого взгляда, как только в берлинских кинотеатрах появились короткометражки с Микки и Дональдом. Взрослые игровые фильмы ее раздражали. Актеры таращили глаза, заламывали руки. Эмма думала, что вульгарная имитация чувств – особенность немого кино, однако когда актеры заговорили, запели, получалось еще фальшивей. Экранные страсти, любовь, предательство, страдания казались грубой пародией на реальную жизнь. Комедии вызывали оскормину, словно кто-то насильно заставлял смеяться. Из игровых Эмма могла смотреть только фильмы Чарли Чаплина, но их в рейхе запретили.

Полнометражный мультфильм Диснея «Белоснежка и семь гномов» очаровал Эмму. На второй просмотр она притащила своего мужа Германа. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Герман уснул, уронив голову ей на плечо, прохрапел весь фильм, а потом сказал:

– Ну что ж, мило.

– Ты о своих снах? – язвительно уточнила Эмма.

– При чем здесь мои сны? Я ни на минуту не отрывался от экрана. В основе сюжета известная сказка братьев Гримм.

«А чего ты ожидала? – подумала Эмма. – Ты же знаешь Германа».

Через неделю, в свой очередной выходной, она отправилась на «Белоснежку» в третий раз. Первый просмотр так сильно ее впечатлил, что она не успела насладиться деталями. Второй не в счет, Герман все испортил своим храпом. Третий был жизненно необходим.

Когда гномы плакали над уснувшей принцессой, из больших серых глаз Эммы покатились слезы, засверкали в длинных темных ресницах. Рядом с ней сидела девочка лет восьми. Она тронула руку Эммы и прошептала:

– Не плачьте, фрау, все будет хорошо. Принц поцелует Белоснежку, и она проснется.

– Я знаю, дорогая. – Эмма благодарно улыбнулась, вытерла платочком глаза и щеки, но слезы покатались еще сильнее.

На мгновение ей показалось, что рядом не чужая девочка, а ее дочь, которая могла бы родиться именно восемь лет назад, в тридцать первом. Возможно, это был бы мальчик, точно уже не узнаешь, но почему-то Эмма всякий раз представляла своего нерожденного ребенка девочкой, с таким же, как у нее самой, нежным, слегка удлинненным овалом лица, с пепельно-русой копной прямых жестких волос. Эмма сворачивала свои волосы тяжелым узлом на затылке и закалывала шпильками, а волосы дочери, наверное, заплетала бы в косы с шелковыми лентами, вот как у этой девочки в соседнем кресле.

Герман напрочь забыл трагедию восьмилетней давности, будто и не было ничего. Когда это случилось, он сказал: «Не стоит так переживать, ты же сама понимаешь, сейчас не самое подходящее время, чтобы заводить ребенка».

Время правда было ужасным. В двадцать девятом разразился кризис, улицы наполнились безработными, выстроились очереди у магазинов, начались трудности с продуктами. Лопнул банк, в котором Герман и Эмма хранили основную часть своих сбережений. Жалованье задер-

живали, к концу тридцатого года урезали на треть. Пришлось переехать в квартиру подешевле, экономить каждый грош. Никто не знал, что будет завтра.

Эмма была не только женой, но и ассистенткой Германа. Без нее он не мог провести ни одного эксперимента. Беременность и рождение ребенка означали уход с работы, хотя бы на некоторое время. Герман это, конечно, понимал, но только теоретически, и просил поработать еще месяц, два. «Сейчас я на взлете, нашел перспективную тему, Планк и Лауэ увидели, наконец, во мне серьезного ученого, а не беспомощного серенького сыночка знаменитого Вернера Брахта. С новым ассистентом мне придется начинать с нуля. Малейшая неудача, и меня загрызут, затопчут, потопят в интригах. Ты этого хочешь?».

Эмма этого не хотела и продолжала работать.

Она была на пятом месяце. Во время очередного эксперимента ее сильно ударило током, она отскочила, стукнулась копчиком об угол стола, потеряла равновесие, рефлекторно ухватилась за стеклянную колбу и раздавила ее. В ладонь впились осколки. Медсестра в больнице вытаскивала их пинцетом, Эмма удивилась, почему так много крови, лужица на полу, кровь течет по ногам. Никакой боли она в тот момент не почувствовала, только голова закружилась и последнее, что она услышала, было слово «обморок». Очнувшись в другой палате, в окружении врачей в масках, она узнала, что потеряла ребенка.

Врачи рассказали, что кровотечение долго не останавливалось, она едва не погибла. Герман приехал забирать ее из больницы с букетом крупных чайных роз и улыбался, будто произошло что-то хорошее. Она спросила, чему он так радуется. Он ответил: «Ты жива, это главное, а дети у нас еще обязательно будут, двое, трое, сколько захотим».

Перед выпиской врач сообщил ей, что детей у нее не будет никогда. Герману она не сказала об этом ни слова.

Экономический кризис кончился, они с Германом работали успешно, Эмма получила звание доцента, что для женщины было почти невероятно. Они в рассрочку купили маленькую виллу в Далеме, тихом зеленом пригороде Берлина, неподалеку от института, могли позволить себе отдых на фешенебельных курортах.

Герман с тех пор больше ни разу не заводил разговоров о детях, не замечал чужих детей. Возможно, он так и не понял, что произошло. Беременность – это когда большой живот. А живот у Эммы вырасти не успел.

Она постепенно справилась с болью, лишь изредка наваливалась тоска, возвращалось зудящее чувство вины.

Конечно, следовало уйти из института сразу, как только она узнала, что беременна. Эксперименты, которыми они занимались, вообще несовместимы с беременностью. Но не ушла, испугалась, что Герман ее бросит. Вместо того чтобы думать о будущем ребенке, она заранее ревновала мужа к одной молодой сотруднице, которая могла занять ее место, сначала в качестве ассистентки, а потом... Эмма знала, как сближает совместная работа, знала, что для Германа самым важным, самым близким человеком становится тот, без кого он не может обойтись в работе.

Именно таким человеком была для него Эмма многие годы. Самостоятельная научная карьера ей не светила. Женщине в одиночку в мужском мире большой науки не пробиться ни талантом, ни упорством, только статус жены и помощницы ученого дает шанс. Мари Кюри единственное исключение, впрочем, вряд ли она сумела бы стать мировой величиной, если бы не была сначала женой, а потом вдовой Пьера Кюри.

Эмма студенткой слушала несколько лекций мадам Кюри, видела ее издали, восхищалась и верила, что, если женщина стала первым в мире лауреатом двух Нобелевских премий, по химии и по физике, с предрассудками покончено. Никто не посмеет сказать, что наука – не женское дело.

В тридцать четвертом Мари умерла от лейкемии. Эмма всплакнула, вместе с мадам Кюри исчезли последние иллюзии ее студенческой юности. Великая женщина умерла, а предрассудки остались.

Герман говорил: «Я, моя тема, моя статья». На самом деле его гордое научное «я» содержало изрядную долю трудолюбия, азарта, бессонных ночей Эммы. И с каждым годом эта доля увеличивалась.

У него часто не совпадали показания приборов, он путался, нервничал. Эмма терпеливо разбиралась в показаниях, вычисляла, сверяла записи, повторяла опыты, находила элегантные простые решения сложных задач, выдавала свежие идеи, которые так нравились Герману, что он принимал их за свои собственные. «Вот, я только подумал, а ты уже сказала».

Когда они писали отчеты, доклады и статьи, Эмма сидела за машинкой, а Герман диктовал, расхаживая по кабинету. Он мучительно трудно подбирал слова. Много курил, багровел от напряжения. Эмма придумывала точные и внятные формулировки. Ее пальцы летали по клавишам «Ундервуда». Герман вытягивал из каретки очередную готовую страницу, читал, бормотал: «Да-да, именно это я имел в виду».

Гордое научное «я» Германа давно стало иллюзией, но упорно не желало превратиться в реальное «мы». В их дуэте роли распределялись так: Герман – серьезный ученый, как положено ученому, рассеянный, погруженный в себя. Он занят разгадкой сокровенных тайн природы, все, кроме физики, ему чуждо и скучно. Его время и силы бесценны. У него дар, призвание, и, если бы не интриги завистников, он давно бы стал членом Прусской академии, а может, даже нобелевским лауреатом. Эмма – любящая жена и преданная помощница серьезного ученого, способная, но звезд с неба не хватает. Для нее вполне естественно отвлекаться на пустяки, на устройство быта, стряпню, вязание. Нежный желудок серьезного ученого привык к домашним супчикам, паровым куриным котлетам и легким фруктовым десертам. Нежная кожа привыкла к свитерам и джемперам, связанным руками Эммы.

При нынешнем режиме от серьезного ученого требовались не только научные достижения, но и кое-что еще. Если бы Эмме пришлось публично клеймить «еврейскую физику», называть теорию относительности Эйнштейна «колдовством, направленным на порабощение человечества», восхищаться «арийской физикой», прославлять сумасшедшего шарлатана Горбигера с его теорией «космического льда и полой земли», она бы сгорела со стыда, чувствовала бы себя идиоткой. Герман испытывал те же чувства, но отказаться не мог. И в партию ему пришлось вступить, он ведь еще не стал нобелевским лауреатом и мировой знаменитостью, как Гейзенберг и Планк.

Жизнь института кипела конкуренцией, интригами. Герман захлебывался в этом, а Эмма только утешала его. Серьезный ученый был вынужден суетиться, врать, интриговать, приспособливаться, а скромная ассистентка спокойно, почти безмятежно занималась чистой наукой, не отвлекаясь на пустяки. Устройство быта теперь почти не отнимало времени, они с Германом могли позволить себе приходящую прислугу. Так что роль скромной ассистентки оказалась весьма удобной, Эмма играла ее с удовольствием.

Что касается роли любящей жены, ее Эмма вовсе не играла. Она искренне любила Германа, с его эгоизмом, амбициями, неряшливостью, упрямством. Вот эта последняя черта была невыносима. Именно из упрямства Герман второй год не общался со своим отцом. Он практически бросил старика, причем в самый тяжелый момент.

Вернер Брахт еще недавно был знаменитым радиофизиком, авторитетным уважаемым ученым, но теперь потерял все – кафедру, научную репутацию, связи, здоровье, а возможно, и разум. Эмма навещала старика каждое воскресенье и тщетно пыталась помирить сына с отцом.

* * *

Карл Рихардович Штерн не разбирался в физике, никогда ею не интересовался, о расщеплении ядра урана впервые услышал от своего соседа Акимова и при всем желании не мог понять, какое отношение к созданию чудовищной бомбы имеет простой прибор, сконструированный ссыльным профессором в лаборатории Иркутского горно-металлургического института.

Сначала, слушая Акимова, он смутно припоминал, как в середине двадцатых гуляли панические слухи о сверхоружии, «лучах смерти», способных уничтожать огромные города в считанные минуты. Лучи оказались блефом, вместо них по Европе и Америке ударил экономический кризис.

Когда Петр Николаевич возбужденно рассказывал о разделении изотопов урана, доктор Штерн подумал: «Кризис – реальность, но до сих пор никто не понимает, почему он случился. Реальность загадочней и абсурдней любого вымысла».

Одна-единственная небольшая бомба, способная в считанные минуты превратить огромный город в развалины и убить сотни тысяч людей, показалась доктору куда менее фантастичной, чем реальность по имени Гитлер.

Когда прозвучала фраза, что первая урановая бомба через пару лет может появиться у Гитлера, доктора сильно зазнобило. Фуфайка под джемпером стала мокрой от ледяного пота. Дыхание перехватило, словно он нырнул в прорубь.

Спасибо Вере Игнатьевне, вовремя появилась и увела мужа. Доктору хотелось поскорей остаться одному, переварить услышанное.

Он очень долго неподвижно стоял у окна, прижимаясь лбом к стеклу. Он боялся обернуться, слишком велик был риск увидеть вместо привычной уютной комнаты, в которой он прожил последние пять лет, большую палату, ряды коек.

Ноябрь восемнадцатого, прифронтовой госпиталь в Посевалке.

Доктор Штерн пытался жить здесь и сейчас, а не там и тогда. Прошло больше двадцати лет, но сквозь тяжелые слои самых страшных, невыносимых воспоминаний упрямо сочился мутный ноябрьский свет восемнадцатого года.

Доктор видел пространство палаты, белый кафель с тонким васильковым бордюром, штативы капельниц, костыли, прислоненные к стене, на столе дежурной сестры измятый номер «Франкфуртер цайтунг» с фотографией генерала Людендорфа и крупным заголовком: «Капитуляция Германии». Он видел самого себя, военного психиатра, в белом халате поверх формы.

Молодой прусский интеллектual, коренной берлинец из богатой семьи, с отличным университетским образованием, твердыми этическими принципами и чуткой совестью шел по проходу между койками в дальний угол палаты, откуда звучал хриплый монотонный крик: «Германия погибла! Заговор! Темные силы торжествуют!»

За годы войны молодой успешный доктор приобрел огромный опыт. Через его руки прошли сотни раненых, контуженных, засыпанных землей с посттравматическими психозами и фобиями. Он научился чувствовать чужие недуги, проникать в больное сознание, вступать в диалог не с человеком, а с его страхами, с причудливыми персонажами бреда и темными покровителями смертельных пристрастий. Иногда он казался себе Крысоловом из старой сказки, который подобрал правильные ноты на своей дудочке, и волшебная мелодия освобождает человеческую душу от страданий, как город от крыс. Только он знает эти ноты, он один может сыграть мелодию, больше никто.

Словосочетание «дар внушения» звучало слишком высокопарно и нескромно, молодой доктор даже в личном дневнике не решился написать об этом. Дар свой он чувствовал, но боялся себе в этом признаться, его грызли сомнения: «Чем я заслужил? А вдруг тот, кто дал, отнимет, подарит кому-то другому?» Он брался за самые тяжелые случаи, чтобы в очередной раз проверить, убедиться.

Вопли несчастного больного, у которого случился психопатический приступ, гулко отдавались от кафельных стен.

Маленький усатый ефрейтор, отравленный ипритом, ничем не отличался от прочих пациентов. Все пациенты чем-то отличались друг от друга, а этот – нет. Ефрейтор не имел никаких индивидуальных, личных черт, кроме, пожалуй, одной. Он был изумительно фальшив. Любое проявление чувств казалось скверной игрой. За такую игру балаганного лицедея на рыночной площади забросали бы гнилыми овощами.

Факт отравления ипритом не вызывал сомнений, все признаки были очевидны, но страдания ефрейтора выглядели так фальшиво, что даже самые сердобольные сестры избегали разговоров с ним, выполняли свои обязанности молча, без обычных слов утешения. Соседи по палате сторонились его. Он не получал и не писал писем, не имел ни дома, ни семьи, ни друзей, ни профессии. Он никого не интересовал, никому не нравился.

Если бы выяснилось, что у этого нелепого существа вместо мозга ядро грецкого ореха, а вместо сердца комок каучука, доктор Штерн удивился бы куда меньше, чем если бы ему описали последующие события. Легче было представить на посту рейхсканцлера госпитального дворника или его метлу, чем вообразить главой Германии маленького ефрейтора.

В ноябре восемнадцатого имя Адольф Гитлер абсолютно ничего не значило.

Когда пришло известие о капитуляции Германии, Гитлер уже выздоравливал, но вдруг стал жаловался на слепоту, изводил своими воплями соседей по палате.

У доктора Штерна этот ефрейтор вызывал отвращение и жалость. Первое он считал недопустимым для врача, а насчет второго врал себе. Не жалость это была, а любопытство, амбиции, очередная проверка своих сил: справлюсь или не справлюсь?

Доктор Штерн помнил каждую мелочь того серого ноябрьского дня. Когда его вызвали к больному ефрейтору, он оставил на столе в ординаторской недописанное письмо своей невесте Эльзе, рядом лежала ее фотография. Конечно, он должен был вернуться и убрать это от посторонних глаз. Но он спешил к больному. Доктор Штерн образца восемнадцатого года никак не мог слышать сквозь глухую толщу будущих десятилетий тихий голос нынешнего доктора Штерна: «Остановись, не ври себе!»

Бред Гитлера имел ярко выраженную параноидную форму: «Темные силы, всемирный заговор». В таких случаях бесполезно разубеждать, обращаться к логике и здравому смыслу. Больной ничего не воспринимает вне круга своих бредовых идей, и вести диалог приходится внутри этого круга, на языке, доступном больному. Вылечить все равно нельзя, но успокоить можно.

На очередной волне воплей о гибели Германии доктор Штерн произнес: «Вот вы ее и спасете, Адольф». Больной вытаращил глаза, вцепился в его руку, пробормотал: «Да, о да! Я спасу Германию» – и затих, к великому облегчению соседей по палате.

Доктор Штерн не сделал ничего особенного, он использовал элементарный терапевтический прием, описанный в любом учебнике психиатрии, но ничтожный эпизод кувалдой ударил по его жизни. В тот момент он не почувствовал удара, не заметил трещину. Она медленно, неумолимо росла и еще лет десять не давала о себе знать, а потом расколола жизнь на две неравные части.

После войны Карл Штерн вернулся домой, женился на Эльзе, у них родились сыновья, Отто и Макс. Он умел лечить тяжелые психические расстройства, алкоголизм, наркоманию при помощи мягкой психотерапии. Вначале среди его пациентов каждый второй был членом нацистской партии, потом остались только они, причем самые высокопоставленные, вплоть до морфиниста Геринга.

Доктор Штерн превратился в придворного врача нацистов. Они хорошо платили, а ему надо было кормить семью.

Гитлер не забыл прозорливого доктора из госпиталя в Посевалке, рассказал о нем своему обожателю Гессу, и тот назвал Карла Штерна «посвященным в великую тайну». Когда у фюрера случались истерические припадки, когда он катался по полу и грыз ковер, к нему привозили доктора, посвященного в тайну. Припадки были фальшивыми и лечение – фальшивым. Карл Штерн исполнял роль статиста в бесконечном ритуальном действе, делал значительное лицо, произносил магические тексты.

Все это слишком далеко зашло. Попробуй скажи Герингу: «Вы мерзавец, я больше лечить вас не желаю, подышайте от морфия и ожирения, чем скорее, тем лучше. И к вашему фюреру я не поеду, пусть он подавится ковром и заткнется навеки».

Сколько раз он произносил это мысленно и понимал, что произнести вслух не посмеет никогда. Будет являться по первому зову, считать пульс, следить за реакцией зрачков, проводить ритуальные сеансы психотерапии. Любая попытка выйти из игры означала смертный приговор. Он знал, в лагерь не отправят, прикончат тихо. А семья?

Он был самому себе противен. Он, христианин, воспитанный в католической вере, верующий искренне с детства, не мог молиться. Стоило начать: «Отче наш...» – и сразу щеко-тал ноздри госпитальный запах карболки, слышался скрип панцирной койки, сиплый голос с австрийским акцентом повторял: «Да, о да, я спасу Германию».

Прошло много лет, но дрожащие влажные пальцы ефрейтора все не отпускали запястье прозорливого доктора. Иногда по утрам Эльза спрашивала: «Карл, что тебе снилось? Ты кричал: “Остановись! Не ври себе!”».

Гитлер ничуть изменился с тех пор, только усы укоротил и слегка располнел. Его жесты, гримасы, интонации были все так же тошнотворно фальшивы, но толпы на площадях Германии, вместо того чтобы освистать лицедея и забросать гнилыми овощами, рукоплескали, бились в экстазе. Люди, которые прежде, соприкасаясь с ним, брезгливо отворачивались, теперь не могли оторвать от него глаз. Те же люди. И тот же ефрейтор.

Поражение в войне, унижительный версальский мир, экономический кризис, коррупция, безработица, глупость Папена, старость Гинденбурга, пристрастие мелких лавочников к мистике и теории заговора – все объективные и субъективные причины прихода к власти нацистов были известны, но совершенно не объясняли, как удалось втянуть миллионы немцев в круг бредовых идей и превратить ничтожество в божество. А главное – зачем?

Доктор Штерн запрещал себе думать об этом и думал постоянно. Его жена Эльза восхищалась Гитлером. Старший сын Отто готовился вступить в молодежную группу СС. Младший, Макс, каким-то чудом избежал заразы, но страдал оттого, что не мог быть как все.

Пора было удирать. О легальной эмиграции мечтать не стоило, но имелась возможность отправиться на отдых в Швейцарию. Он все продумал и подготовил. Один из его пациентов, военный летчик, бывший однополчанин Геринга, летел в Швейцарские Альпы на собственном самолете. В последний момент доктора попросили задержаться в Берлине. Готовилась расправа с Ремом и его штурмовиками, ближайшее окружение беспокоилось за нервы фюрера.

Чудесным июньским утром тридцать четвертого на берлинском аэродроме Темпельхофф доктор Штерн проводил свою семью, поцеловал Эльзу, Отто, Макса. Он был уверен, что увидит их через несколько дней, и не увидел больше никогда. Самолет разбился в горах на швейцарской границе. Вот тогда и распалась жизнь на две неравные части. Собственно, жизнь кончилась, остался осколок, острый и мучительный, как кость в горле.

Позже он узнал, что авария была подстроена. Военный летчик что-то наболтал английскому корреспонденту о своем бывшем командире, Геринг приказал тихо убрать его. Никто не предполагал, что в неисправном самолете полетит семья доктора Штерна.

В Швейцарию на опознание погибших доктора сопровождал давний университетский друг Бруно Лунц. Дальше был инфаркт, швейцарская клиника.

Он быстро выздоравливал, не понимал зачем и вяло, по инерции, думал, что теперь делать. В Берлин стоило возвращаться лишь с одной целью: убить ефрейтора. Но это из области бреда, никого он убить не сумеет. Остаться в Швейцарии? Слишком больно. Ведь он собирался жить тут с семьей.

Когда Бруно предложил ему ехать в СССР, у него не было сил удивляться. Умный, живой, ироничный, все понимающий Бруно оказался советским шпионом, а он, доктор Штерн, объектом разработки, деталью отвратительной шпионской авантюры.

Он бы послал все это к черту, но маленькая дочь Бруно страдала врожденной болезнью сердца. Жить и лечиться она могла только в Швейцарии. Бруно нашел гениальный аргумент: если он не переправит доктора Штерна в СССР, его отзовут в Москву за провал операции. А там ребенок погибнет.

Терять все равно было нечего, а девочку жалко. Он согласился.

Переправляли его долго, сложно, с фальшивыми паспортами и накладными усами. Сначала привезли в Крым, несколько месяцев он жил в санатории, совершенствовал русский язык, который знал прежде, но плохо. Потом доставили в Москву, поселили в комнате на Мещанской. Он не понимал, зачем и кому тут нужен.

Он до сих пор не понимал этого, хотя прошло пять лет. Он числился за иностранным отделом НКВД. Все, что было ему известно о личной жизни, привычках и психологических особенностях нацистских вождей, он выложил устно и письменно. Несколько раз его возили на дачу к Сталину, обязательно ночью. Вождя и компанию – Молотова, Ворошилова, Кагановича – интересовало, кто там в рейхе с кем спит, кто гомосексуалист, кто предпочитает несовершеннолетних девочек, что они пьют и едят, как развлекаются. Историю о том, как Гитлер грыз ковер, доктору приходилось повторять на бис.

Ритуальное действо продолжалось. «Доктор, посвященный в великую тайну», превратился в «того немца, который лечил Гитлера». Так называл его Сталин. Это звание сохранило ему жизнь и свободу, когда всех прочих немцев, коммунистов, эмигрантов, бежавших к Сталину от Гитлера, отправляли в лагеря и расстреливали. А возможно, уцелел он потому, что не был ни коммунистом, ни эмигрантом, ни евреем.

До своего приезда в СССР доктор Штерн не питал иллюзий относительно большевизма и Сталина. Реальность превзошла все его прежние расплывчатые представления. Он в очередной раз убедился, что реальность абсурдней и загадочней любых фантазий. Но, что бы ни происходило с ним за прожитые в СССР пять фантастических лет, он то и дело нырял, как в прорубь, в ноябрь восемнадцатого, в госпиталь в Посевалке. Это сопровождалось сильным ознобом, ледяным потом, болезненным спазмом в горле. Надо было перетерпеть. Он вспоминал Эльзу, Отто, Макса, шептал их имена, и палата исчезала. Так случилось и сегодня. Он вернулся в знакомую обжитую комнату на Мещанской, увидел ночную метель за окном, услышал вой ветра и пробормотал, обращаясь к своему смутному отражению в холодном стекле:

– Ефрейтор Гитлер и урановая бомба... Когда эти двое найдут друг друга, мир исчезнет. Что я могу? Совершенно ничего... но если хорошенько подумать...

* * *

«Белоснежка» давно закончилась, Эмма брела по ледяным сумеречным улицам и не могла расстаться с мультфильмом, вспоминала, как птицы и звери помогали принцессе наводить порядок в доме гномов. Она попробовала хотя бы примерно подсчитать, сколько нужно нарисовать картинок, чтобы получились такие изумительные, тонкие, сложные и совершенно естественные движения. У каждого персонажа свой характер, своя мимика, пластика. Сложить целую сказку из отдельных картинок – это почти как создать живое неповторимое существо из атомов. Задача для Господа Бога. А гном Ворчун чем-то похож на старика Вернера.

Эта мысль заставила ее взглянуть на часы.

– Ужас! Без двадцати пять! – пробормотала Эмма и прибавила шаг.

Было воскресенье, старик ждал ее. Она совсем забыла, что обещала принести с воскресной ярмарки его любимый домашний сыр и серый деревенский хлеб.

Она добежала до площади у старой кирпичи, когда торговцы уже убирали товар, но все-таки успела купить маленькую головку сыра, между прочим, последнюю, что вызвало у нее особенную гордость. Хлеб был теплый, торговка держала его в корзине, обернутой ватным одеялом. Еще она купила три крупных зеленых яблока, бутылочку жирных сливок и толстые шерстяные носки.

Нагруженная пакетами, она проехала несколько остановок на трамвае. Вернер жил в Шарлоттенбурге, в собственной вилле. Герман тут родился и жил до восемнадцати лет, во дворе за домом сохранились его детские качели. На месте сгоревшего сарая выросла тонкая кривая осина.

Калитка оказалась незапертой. Дым не шел из трубы, значит, камин не топили. Темнело, но фонарь над крыльцом не горел, и не было света в окнах. Только за круглым окном мансарды подрагивали смутные сполохи.

Переступив порог, Эмма поняла, что горничная тут не появлялась давно. В прихожей свет не включился. Было холодно, пахло пылью. Эмма прошла на кухню, там тоже перегорели лампочки. Она осторожно, на ощупь, сложила покупки на стол, нашла спички, зажгла свечи, вернулась в прихожую, сняла шубку, поправила прическу перед полуслепым зеркалом, нарочно громко топая и покашливая, поднялась по лестнице в мансарду. Из-под двери пробивались белые сполохи. Эмма постучала:

– Вернер, это я.

В ответ ни звука, только пульсация света. Эмма приоткрыла дверь. Вспышки ослепили ее.

В просторной комнате у широкого лабораторного стола, склонившись к прибору, стоял маленький тощий старик. Свет окружал его сутулую фигуру дрожащим нимбом. Из-под выношенного, растянутого до колен лыжного свитера торчали фланелевые пижамные штаны в клетку, заправленные в серые войлочные сапоги без подметок с кожаными заплатами на пятках. На голове красовался колпак из грубого шинельного сукна, по форме напоминающий заостренный купол. Нечто среднее между шлемом и кепи. По бокам короткие овальные уши, спереди нашита пятиконечная звезда из красного сатина.

Вернер не расставался с этой обувью и этим головным убором. Название сапог Эмма примерно знала, что-то вроде «ваулэнык». А как называется колпак, забыла. Он был частью большевистской военной формы. И то и другое когда-то подарил Вернеру его советский друг радиофизик Марк Мазур.

– Перегорели все лампы, вы ни разу не разжигали камин. Холод страшный. Вы опять прогнали горничную, – строго сказала Эмма.

– Она дура, – ответил Вернер и передернул плечами.

– Все у вас дуры и дураки.

Он повернул голову, сердито сверкнул глазами из-под рыжих бровей и саркастически хмыкнул.

«Ну точно гном Ворчун», – подумала Эмма и суровым тоном предупредила, что ужин будет готов часа через полтора, не раньше, поскольку без дуры горничной в доме страшная грязь.

Прежде чем заняться стряпней, она вытащила из кладовки стремянку, упаковку лампочек, мешок с углем, разожгла камин. В доме стало светло и тепло. Она подмела пол, вытерла пыль, вымыла посуду. Все это она делала быстро и весело, насвистывая мелодию из «Белоснежки» и представляя, что с ней рядом чудесные помощники, птицы и звери, обитатели диснеевского леса.

За ужином Вернер не снял свой большевистский колпак и произнес всего одно слово: «Вкусно!»

Перед уходом Эмма поменяла постельное белье, достала из комода чистую пижаму, положила на покрывало новые носки, налила воду в стакан для зубных протезов, добавила несколько капель мятного эликсира.

Поднявшись в мансарду, чтобы попрощаться с Вернером, она сказала:

– У вас кончается уголь, остался последний мешок.

Старик все так же стоял над прибором, в пульсирующем нимбе, но теперь свет был не белый, а зеленовато-голубой. Эмма не ждала, что он ответит, произнесла свое обычное:

– До свиданья, Вернер, до следующего воскресенья.

Уже у двери она услышала:

– Ну что, дорогуша, тебя и твоего мужа включили в проект?

Эмма замерла и после паузы спросила:

– В какой проект?

– В урановый, конечно. В какой же еще?

Эмма почувствовала, как запыхали у нее щеки и уши, ей стало жарко в холодной мансарде, она дрожащей рукой расстегнула верхнюю пуговицу вязаной кофточки.

– О чем вы? Я не понимаю...

Зелено-голубые вспышки стали нестерпимо яркими, раздалось сухое потрескивание, что-то щелкнуло. Вернер выключил прибор и повернулся всем корпусом. Эмма шурилась, после вспышек не могла разглядеть лицо старика. Его высокий, захлебывающийся смех напоминал голубиное воркование.

– Интересно, кто там у вас главный? Храбрый кролик Гейзенберг? Сладкий сухарь Отто Ган? А может, они пригласят Альберта?

– Какого Альберта?

– Великого, – старик подмигнул.

– Да уж, Альберт Великий² был бы сейчас кстати. – Эмма криво усмехнулась. – Жалко, что кафедры спиритизма в нашем институте нет. Идея красивая, но нереальная.

– Расщепление ядер тяжелых элементов совсем недавно тоже называли красивой, но нереальной идеей. – Вернер в последний раз хохотнул и добавил серьезным тоном: – Я имел в виду другого великого Альберта.

– Другого я не знаю.

Старик приблизил к ней лицо и прошептал:

– Ты хорошо его знаешь, дорогуша, лично знакома, зачитывалась его трудами, умилялась игре на скрипке.

– Это плохая шутка, – испуганно прошептала Эмма.

– Шутка, – кивнул старик и поправил свой дурацкий колпак. – Альберт Эйнштейн – теоретик, гений, а тут нужны практики, скромные исполнители, вроде тебя и твоего мужа. Разумеется, вас включили в проект.

– Вернер, я прошу вас никогда больше не касаться этой темы, – выпалила Эмма.

– Постараюсь, но не обещаю, очень уж интересно, как вы все там перегрызаетесь. Да ты не бойся, в моем доме гестаповских ушей нет.

Он опять подмигнул и внезапно чмокнул ее в щеку. Это получилось так трогательно, по-детски, что Эмма невольно улыбнулась. Она не могла долго сердиться на Вернера. Огромный запас любви, предназначенный ребенку, который никогда уже не родится, разрывал душу. Старик был одинок, незащищен и наивен, как малое дитя.

² Альберт Великий (1200–1280) – немецкий ученый, философ, канонизирован в 1932 г., считается покровителем всех естественных наук.

– Пожалуйста, наденьте на ночь шерстяные носки и постарайтесь не спалить дом до следующего воскресенья, – сказала она на прощанье.

«А все-таки откуда он мог узнать? – думала она по дороге домой. – Проект настолько секретный, что даже названия у него нет, только кодовая фраза: “создание новых источников энергии для ракетных двигателей”. В институте между собой мы называем это “урановым клубом” и говорим шепотом, как заговорщики. Мы все давали подписку о неразглашении... Гестаповские уши... Он проработал в институте почти тридцать лет, может, кто-то навещает его? Нет, вряд ли. Тогда откуда?»

Ответ пришел сам собой. О расщеплении ядра урана известно всему миру. Уж кто-кто, а Вернер Брахт легко может представить, какой ажиотаж теперь поднялся вокруг урана. На самом деле членами секретного «клуба» стали сотни физиков и химиков по всей Германии. Работы начались в апреле, в них участвует двадцать два научных института, они щедро финансируются, их курируют Управление вооружений сухопутных войск, министерство образования, министерство связи. Все публикации по этой теме запрещены.

«Пусть болтает что хочет, – решила Эмма, – я буду молчать. Даже к лучшему, что Герман с ним не общается, его бы такие разговорчики напугали до смерти».

Когда она вернулась домой, Герман спал на диване в гостиной. Рядом на ковре валялся свежий номер «Берлинер тагеблат» с портретом фюрера. Эмма присела на край дивана, погладила мужа по щеке и тихо произнесла:

– Он опять прогнал горничную.

Герман открыл глаза, поймал ее руку, поцеловал в ладонь и спросил:

– На улице холодно?

– Не очень. Знаешь, я сегодня в третий раз посмотрела «Белоснежку».

– Тебе не надоело? – Герман сладко, со стоном зевнул.

– Нет. Нисколько. Подвинься.

Эмма прилегла с ним рядом и стала тихо напевать песенку гномов, возвращающихся с работы.

Глава третья

В первый день войны Джованни Касолли отправился в Гляйвиц, городок на границе Польши и Германии. Международную группу журналистов повезли туда на автобусе, прямо из министерства пропаганды, после короткого брифинга, на котором Геббельс сообщил, что поляки совершили очередную чудовищную провокацию, варварский акт, переполнивший терпение немцев.

Первый пасмурный сентябрьский день после изнурительного августовского пекла был сонным, вялым. Солнце, всю неделю палившее нещадно, наконец скрылось за высокими светлыми облаками, утомился горячий ветер, на берлинских улицах стало спокойно и приятно, как в теплице.

Кроме чиновников министерства, международную группу сопровождала сотрудница пресс-центра МИДа Германии фрау фон Хорвак. По дороге все молчали, избегали смотреть друг на друга, усердно любовались несущимися вдоль трассы аккуратными прусскими пейзажами.

– Мы едем к границе, но нет никакого движения войск, – заметил кто-то из журналистов.

– Наши войска уже пересекли границу и стремительно продвигаются в глубь вражеской территории, – гордо объяснил чиновник.

Джованни возился со своей новенькой кинокамерой, шестнадцатимиллиметровой «Аймо» американской фирмы «Белл энд Хоуэл». Он купил эту модную игрушку в Риме неделю назад и не мог с ней расстаться. Компактная, легкая, она удобно ложилась в саквояж. Ее объективу он доверял больше, чем собственным глазам. Умница «Аймо» дарила чувство отстраненности, превращала реальность в череду безобидных, последовательно движущихся картинок, которые можно в любой момент остановить, пустить в обратном направлении, двинуть время вспять, вернуться к началу действия.

«Аймо» тихо заурчала, как только в объектив попала белокурая голова Габриэль фон Хорвак. Она сидела через ряд, у окна. На соседнем сиденье лежала ее сумка. Когда рассаживались, Джованни удалось незаметно сжать ее руку, пропуская вперед. Они быстро обменялись взглядами. Сесть с ней рядом он не решился. Все, что они могли позволить себе, – формальное «добрый день».

А день был вовсе не добрый. Пока ехали, несколько раз слышали тяжелый гул, крыша автобуса вибрировала. Это летели бомбардировщики люфтваффе бомбить польские города.

Автобус остановился на окраине Гляйвица. Вокруг было безлюдно. Ни местных жителей, ни военных, словно все вымерло. Журналистов подвели к симпатичному двухэтажному дому под черепичной крышей. Джованни скользнул камерой по легкой кружевной конструкции, деревянной радиобашне. Она красиво смотрелась на фоне сизого неба. Потом он снял разбитое окно, следы пуль на розовой штукатурке.

– Служащих радиостанции связали и посадили в подвал, – сказал чиновник, – прошу вас, господа.

Журналисты гурьбой вошли внутрь здания. Там были опрокинуты стулья, на полу следы крови, осколки стекла. Чиновник включил магнитофон, зазвучали выстрелы, высокий мужской голос, медленно выдавливая каждое слово, заговорил по-польски.

– Господа, вы слышите оскорбительные выпады и угрозы в адрес германского народа. Поляки объявили Германии войну, пообещали уничтожить всех немцев, включая женщин и детей, – объяснил чиновник, почти дословно повторяя утреннюю речь Геббельса.

– Оскорбления, угрозы немцам и объявление войны Германии прозвучали по-польски? – с нервной усмешкой спросил молодой репортер CNN.

– Разумеется. Ведь по радио говорил поляк, – не моргнув глазом, ответил чиновник.

«У этого поляка очень сильный немецкий акцент», – заметил про себя Джованни. Судя по лицам журналистов, не он один это заметил, но все промолчали.

Возле дома, на просторном газоне, лежало три трупа в польской военной форме. Их не убрали, не прикрыли, хотя прошло больше двенадцати часов. Вокруг них, по кромке газона, белели поломанные астры. Чиновник пригласил подойти ближе.

– Можете снимать, господа.

Защелкали затворы фотоаппаратов, зажужжало несколько камер, таких же маленьких, любительских, как у Джованни. Он увидел через объектив мертвые лица. Два в запекшейся крови, одно чистое, молодое, с правильными тонкими чертами. Над ними вились мухи. Рядом, на куске брезента, валялись винтовки. Чиновник несколько раз повторил, что, по заключению экспертов, это табельное оружие польской армии.

Джованни продолжал держать камеру, но смотрел мимо объектива. Чиновник, наконец, замолчал, журналисты перестали снимать. Все оцепенели, не задавали вопросов, не писали в блокнотах. В мертвой тишине деловито гудели крупные мухи. Когда их заглушил гул очередной стаи бомбардировщиков, все, как по команде, вскинули головы, уставились в небо. Джованни стоял так близко к трупам, что носок его ботинка почти уперся в подметку сапога убитого с чистым молодым лицом.

«Совсем ребенок, форма явно велика», – отметил он про себя и почувствовал легкое прикосновение. Фрау фон Хорвак подошла сзади неслышно, встала рядом.

– Печальное зрелище, – кашлянув, произнес Джованни, опустил камеру, взял фрау под руку и добавил громко: – Картина не для дамских глаз.

Сквозь небольшую толпу он потащил ее к автобусу. За ними потянулись остальные.

– Габи, может, все обойдется, – успел прошептать он по дороге.

Она ничего не ответила, молча шла рядом и выглядела вполне спокойной. Он слишком хорошо знал ее. Такое нарочито спокойное, отрешенное выражение лица означало, что она сейчас заплачет.

Габриэль фон Хорвак безупречно владела собой. Она умела так плакать, что слезы текли внутрь, и со стороны это было совершенно незаметно. Она могла обмануть кого угодно, даже своего мужа Максимилиана. Только не Джованни Касолли. Между ними все уже кончилось, но он продолжал ее чувствовать на расстоянии. Она тоже знала его слишком хорошо и понимала, что бессмысленная реплика «может, все обойдется» означает крайнюю степень отчаяния и растерянности.

В автобусе им не удалось поговорить, хотя он все-таки решился сесть рядом. На листке отрывного блокнота она написала несколько букв и цифр. Он едва заметно помотал головой. Он никак не мог встретиться с ней сегодня в восемь вечера в Шарлоттенбурге, поскольку в половине восьмого улетал в Рим. Она кивнула, скомкала листок, бросила в сумку. Когда автобус подъезжал к зданию министерства, она громко произнесла:

– Благодарю вас, господин Касолли, вы вовремя увели меня от этих трупов, до сих пор не могу прийти в себя.

– О нет, фрау Хорвак, так просто вы не отделаетесь, – ответил он в шутовской манере бывшего ловеласа, – вам придется со мной пообедать. Я здорово проголодался, терпеть не могу есть в одиночестве в чужом городе.

– Ты правда проголодался? – спросила она, когда они остались наконец вдвоем, пошли к Тиргардену.

– Не очень. А ты?

– Мне вряд ли сегодня кусок ползет в горло.

– Габи, ты правда хотела назначить мне свидание?

– Я не собиралась, я вообще не знала, что ты в Берлине. Просто мне поручили явиться на брифинг и съездить в Гляйвиц. Я в последнее время не выезжаю из министерства пропаганды.

На всех важных мероприятиях должен быть представитель МИДа. Других из нашего ведомства Геббельс шпыняет, только мое присутствие терпит. А Риббентропу нравится читать в моих отчетах, как тупо и бездарно работают с иностранной прессой люди Геббельса.

– Значит, ты отправилась любоваться мертвыми поляками не ради того, чтобы проехаться со мной на автобусе?

Она не ответила. Несколько минут шли молча, свернули с главной парковой аллеи, сели на свободную скамейку. Габи закурила и произнесла, наблюдая за струйкой дыма:

– Это не поляки.

– Думаешь? Или точно знаешь? – спросил Джованни.

– Утром думала, теперь знаю точно.

Послышался детский рев. Мальчик лет трех семенил по аллее, прижимая к груди большой красный мяч. За ним ковыляла полная пожилая дама в цветастом платье и сквозь одышку повторяла:

– Фредди, отдай Монике мяч, сию минуту отдай мяч!

Фредди в ответ ревел громче и семенил быстрее.

– Они не понимают, – пробормотала Габи, когда рев затих и парочка удалилась. – Люди на улицах ведут себя как обычно, будто ничего не произошло. Наши танки прут по чужой земле, наши самолеты бомбят чужие города, а им все нипочем. Надеются, что так и будет продолжаться, безнаказанно? Интересно, кто-нибудь из твоих коллег догадался, что это не поляки?

– Голос на пленке говорил с сильным немецким акцентом. Кажется, многие заметили. Ты, насколько я помню, внутрь здания не заходила, запись не слышала.

– Не заходила. Не слышала. Я смотрела на трупы. Тот, у которого лицо не замазано кровью, работал поваренком в доме фон Блеффа. Его звали Путци.

– Габи, ты так часто видела этого поваренка, что сумела узнать его мертвого, в польской форме?

– Да, я видела его часто. Он был глухонемой и служил сексуальной игрушкой Франса, а Франс фон Блефф, если ты помнишь, был моим женихом.

– Неужели ты ревновала?

– Замолчи. – Она сморщилась, помотала головой. – Около года назад Путци выпил уксусную кислоту, попал в больницу. Его вылечили и отправили в лагерь. Он был в лагере, понимаешь? А потом оказался на газоне у радиостанции в Гляйвице в польской форме. Мертвый. – Она бросила окурочек в урну возле скамейки, зажмурилась и прикусила губу.

Джованни взял ее руку, стал осторожно перебирать, гладить ледяные пальцы и прошептал:

– Он сбежал.

– Кто?

– Этот твой Путци. Он сбежал из лагеря, перешел польскую границу.

– Мг-м, перелетел по воздуху, в шапке-невидимке.

– Ты почти угадала. Он переплыл Одер под водой, и, когда у него осталась последняя капля кислорода в легких, крючок польского рыбака зацепился за его штаны. Рыбак решил, что поймал огромную рыбу, обрадовался, стал тянуть, чуть не сломал удочку, но вместо рыбы вытянул полудохлого юношу. Радости, конечно, мало, однако не бросать же его назад в реку. Пришлось тащить домой. Жена рыбака, добрая женщина, выходила беднягу. Они хотели оставить его у себя, собственных детей у них не было. Как только Путци стал поправляться, он сразу вспомнил все беды и унижения, которые ему пришлось вынести в Германии. Он решил записаться в польскую армию.

– Его не могли взять в армию, он глухонемой.

– Он притворялся глухонемым, ему не с кем и не о чем было разговаривать в доме фон Блеффа.

– Ося, ты опять рассказываешь сказки. – Габи вздохнула и погладила его по голове.

Кроме нее, никто не называл его по имени. О том, что Джованни Касолли на самом деле еврейский сирота Ося Кац, бежавший из Ялты в Константинополь в двадцатом году, было известно нескольким сотрудникам британской разведки. Для них он уже десять лет существовал под кличкой Феличита. Для людей в СССР, которым он иногда передавал информацию через священника итальянского посольства в Москве, он тоже был Ося, но они понятия не имели, что это его настоящее имя и что он родился в России.

Ося прижал к губам ее ладонь. Запах ее кожи, птичий щебет, детские голоса в глубине аллеи, шорох велосипедных шин по мелкому гравию, трепет липовых и дубовых листьев – все это было абсолютно несовместимо с войной. На мгновение ему почудилась, что они с Габи проснулись. Им обоим снился один и тот же кошмар. Гляйвиц, трупы в польской форме на газоне, стаи бомбардировщиков люфтваффе над головой. Он отпустил ее руку и сердито произнес:

– Пожалуйста, не перебивай меня. На чем я остановился?

– На том, что Путци решил записаться в польскую армию.

– Ну да, конечно, он стал солдатом.

– И напал на немецкую радиостанцию в Гляйвице?

– Нет, он не собирался нападать на немецкую радиостанцию. Он пришел на берег Одера, чтобы выполнить поручение карпа, который спас ему жизнь.

– Какой карп? Жизнь Путци спас рыбак.

– Крючок зацепился за штаны... – Ося скептически хмыкнул. – Ты веришь в такие случайности? Я – нет. Если ты перестанешь меня перебивать на каждой фразе, я расскажу тебе, что произошло на самом деле. Путци так долго плыл под водой, что на него стали обращать внимание коренные жители Одера. Особенно заинтересовался гостем старый заслуженный карп. Людей он не любил, поскольку сам когда-то был человеком. Веков пять тому назад он работал поваром в замке князей Олесницких, выпотрошил и зажарил в сметане такое количество речных карпов, что пришлось ему после кончины надолго переселиться в шкуру своих жертв, то есть в чешую. Подплыв ближе к тощему юноше, карп почуял, что подводный гость относится к той породе людей, которых потрошат и жарят в сметане чаще и охотней, чем речных карпов. Он пожалел юношу, подтолкнул к удочке.

– Да, это похоже на правду, – кивнула Габи.

– Это чистая правда, но еще не вся. Карп, конечно, знал, что едоки человечины скоро устроят грандиозное пиршество. Это испоганит спокойную речную жизнь. От войны много шума и грязи. Деликатно подталкивая умирающего Путци к рыболовному крючку, он успел открыть ему один древний секрет. В развалинах замка, где он когда-то потрошил карпов, хранится наконечник копья Вотана. С ним ты, надеюсь, знакома?

– Герой «Старшей Эдды», бог войны, предводитель душ мертвых воинов, в скандинавском эпосе его зовут Оден, – не задумываясь, отчеканила Габи, – он отец колдовства, хозяин магических рун, начальник валькирий, гигантских женщин, которые по его команде распределяют военные победы и поражения, а в минуты отдыха ткут полотно из человеческих кишок и поют хором: «Фюрер наш бог, мы живем ради фюрера, мы умрем ради фюрера».

Последние слова Габи пропела, причем довольно громко. Проходившая мимо пожилая пара хмуро взглянула на нее и ускорила шаг.

– Гунгнир, – прошептал Ося, – так называется копьё Вотана, символ власти, главный атрибут военной магии. Представляешь, что значит для твоих приятелей Гитлера и Гимmlера наконечник Гунгнира? Вот карп и попросил Путци разыскать в развалинах эту железку и бросить в Одер, чтобы они никогда ее не нашли.

– Неужели твой мудрый карп верит в магическую силу какого-то Гунгнира?

– Не то чтобы верит. Просто на всякий случай решил подстраховаться. Конечно, трудно представить, что небольшой кусок металла обладает мощностью миллионов пуль и сотен тысяч бомб, но мы с тобой видели, как самые нелепые мифы становятся былью. Все, нам пора. Ты отвезешь меня в аэропорт.

Габи взглянула на часы и охнула:

– Без двадцати шесть, надо еще заехать в гостиницу.

– Не надо. Мой саквояж в твоём багажнике.

– Разве? Ну да, я забыла.

Свой темно-синий «Порш» Габи оставила в квартале от министерства пропаганды. Они добежали минут за двадцать. Сев за руль, она отдышалась и спросила:

– Он успел?

– Кто?

– Путци успел найти Гунгнир и выбросить в Одер?

– Конечно. Только потом его и двух его верных друзей схватили агенты Гейдриха, которым срочно понадобились мертвые поляки для инсценировки нападения на радиостанцию.

Несколку минут Габи молча вела машину, смотрела прямо перед собой.

– О чем думаешь? – спросил Ося.

– Еще месяц назад эта информация имела смысл. Разоблачение инсценировки... А сейчас некому передавать. Англичане и так все знают, но ничего не делают. Советы – союзник Германии.

– У англичан и французов договор с Польшей, они просто обязаны вмешаться, а союз Сталина и Гитлера – это ненадолго...

Его вдруг прошиб холодный пот. Они говорили в ее машине совершенно открыто. Раньше ничего подобного себе не позволяли. Шансы, что в новенький «Порш» фрау фон Хорвак успели установить записывающее устройство, равны нулю, но есть элементарные правила безопасности, их нельзя нарушать.

Они подъехали к аэропорту, вышли из машины.

– Давай тут попрощаемся, – сказал Ося, – не надо, чтобышний раз нас видели вместе.

– Да, ты прав. – Она посмотрела на часы. – Тебе пора.

– Еще есть минутка. – Он открыл багажник, взял свой саквояж. – Послушай, долго этот кошмар не продлится, немцы не хотят войны, это не четырнадцатый год, ты же видишь, никакого энтузиазма.

– Никто не хочет войны, никто, кроме одного сумасшедшего, и вот сегодня она началась.

– Война очень быстро надоеет всему населению Германии, истощит ресурсы, вымотает нервы. А магическую железку они не найдут, это я тебе гарантирую.

Габи провела кончиками пальцев по его щеке и прошептала:

– Ося, как хорошо, что именно сегодня ты оказался рядом.

Он увидел влажный блеск в ее глазах и понял, что она больше не может сдерживать слезы.

Она вдруг тихо рассмеялась:

– Магическая железка... Небольшой кусок металла... Где-то я уже слышала...

– О чем ты?

– Ерунда, пьяный треп... Ладно, раз уж вспомнила, расскажу. В прошлую пятницу был день рождения Максимилиана, гостей собралось довольно много, один его приятель здорово напился и бранил последними словами бельгийцев. Они сорвали какую-то страшно важную сделку, обещали продать сколько-то тонн урана и в последний момент отказались. Макс удивился, спросил, зачем покупать уран в таком немыслимом количестве, и этот тип понес полную околесицу про энергию распада, мол, недавно что-то там открыли насчет урана. В общем, почти как твой Гунгнир. Сила миллионов пуль и сотен тысяч бомб.

– А этот приятель, он где служит?

– Он советник торгового отдела Управления сухопутных вооружений. Знаешь, он вдруг замолчал на полуслове, будто в один миг протрезвел, очень сильно испугался. Такая паника никак не вязалась с фантастической ахинеей, которую он нес. Это было... Ну, как если бы ты, рассказывая свою историю про карпа и Гунгнир, вдруг осознал, что выбалтываешь государственную тайну.

– У них сплошные тайны. – Ося махнул рукой. – Для того их и сочиняют, чтобы выбалтывать на вечеринках.

– Думаешь, ерунда, пустышка? – неуверенно спросила Габи. – Но ведь правда было какое-то открытие насчет урана, я читала.

– Только что ты сама сказала: ерунда. – Ося поцеловал ее в нос. – Уран – это божество из греческой мифологии, кстати, довольно мерзкое. Без конца брюхатил свою мамашу Гею и заставлял ее прятать детей в утробе, потому что получались уроды...

– Знаю, но это еще и химический элемент, который...

Ося закрыл ей рот ладонью.

– Тс-с! Один из сыновей, Хронос, в конце концов отсек папаше Урану яйца серпом.

Под ладонью он почувствовал улыбку, потом поцелуй. Габи обняла его, прижалась всем телом, скользнула губами по шее, легонько прикусила ухо и тут же отпрянула, зажмурилась, помотала головой.

– Все, иди, твой самолет улетит!

– Чиано должен встретиться с Риббентропом, я буду в свите, как всегда, – выпалил Ося.

Он схватил саквояж, побежал к воротам аэропорта, запрещая себе оглядываться, но все-таки оглянулся. Темно-синий «Порш» сорвался с места и помчался прочь на большой скорости.

* * *

Куранты пробили полночь, спецреферент Крылов машинально взглянул на часы, глотнул остывшего чая, отчеркнул на полях пару абзацев. Прогудел последний удар и мягко слился с воем ночного ветра. Мела метель. За дверью глухо простучали шаги. Кремлевские коридоры жили своей обычной ночной жизнью. Пока Хозяин не уезжал в Кунцево, никто не смел покинуть рабочее место. А уезжал он, как правило, под утро.

Илья прошелся по кабинету. Сквозь оконные щели дуло, ветер выл, как живое существо. На подоконнике шевелились, шуршали номера «Правды» за прошедшую неделю.

В номере от 23 декабря рядом с портретом юбиляра в полный рост, в галифе и высоких сапогах, были напечатаны приветствия иностранных государственных деятелей.

Господину Иосифу Сталину.

Ко дню Вашего 60-летия прошу Вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного СССР.

Адольф Гитлер

Когда пришла телеграмма из Берлина, спецреферент Крылов перевел ее вслух прямо с листа. В тот момент он не видел лица Хозяина, но казалось, лицо должно улыбаться, и даже представилась картина в карамельном стиле художника Герасимова: улыбающийся товарищ Сталин принимает теплые поздравления товарища Гитлера.

Подняв глаза, Илья не заметил и тени улыбки. Хозяин был серьезен, задумчив, пальцы нежно покручивали кончик уса.

Вторую телеграмму прислал Риббентроп.

Господину Иосифу Сталину.

Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего шестидесятилетия мои самые теплые поздравления.

*Иоахим фон Риббентроп,
министр иностранных дел*

Вот тут господин Сталин улыбнулся, с удовольствием вспомнил «исторические часы». Во время второго, сентябрьского визита Риббентропа, когда был подписан договор «О дружбе и границах», на ночном банкете членам германской делегации пришлось выпить за здоровье Кагановича. Сталин считал, что это невероятно остроумно – заставить немцев чокнуться с евреем, и потом часто подшучивал над Кагановичем.

Ответы он продиктовал сразу. Гитлера поблагодарил коротко и сухо:

Прошу Вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за Ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.

И. Сталин

Риббентропу ответил с мрачным пафосом:

Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной.

И. Сталин

Всего четыре иностранных государственных деятеля откликнулись на славную дату. Не густо. Кроме Гитлера и Риббентропа, с шестидесятилетием товарища Сталина поздравил китайский лидер Чан Кайши, да еще товарищ Куусинен, глава нового демократического правительства Финляндии. Это государство и это правительство товарищ Сталин придумал сам.

Реальная Финляндия из всех сил защищалась от Красной Армии и приветствий товарищу Сталину не присылала. Сказочная Финляндская демократическая республика в лице главного финского коммуниста Куусинена смиренно сидела в Москве, в гостинице «Националь», подписала договор о мире и дружбе с СССР и сердечно поздравила товарища Сталина со сказочным юбилеем.

На самом деле шестьдесят ему исполнилось чуть больше года назад, 6 декабря 1938-го. Илья узнал реальную дату рождения Хозяина давно, в начале тридцатых, когда еще не был сотрудником Особого сектора, протирал штаны в Институте марксизма-ленинизма, работал с партийными архивами. Это была одна из бесчисленных и бессмысленных государственных тайн. Каждый декабрь двадцать первого числа Илья с любопытством наблюдал, как поздравляют Хозяина его приближенные. Все они – Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин – отлично знали, что он родился 6 декабря 1878-го, а не 21 декабря 1879-го. Дату он изменил, когда стал генеральным секретарем, в двадцать втором году.

Илья часто думал: зачем? Что значит для Хозяина эта нумерология? Привычка к конспирации? Очередная ложь ради лжи? Или цифры имеют для него какой-то тайный магический смысл?

Когда они с Машей шли поздним вечером после юбилейного концерта по Волхонке мимо забора и она прочитала свой стишок, Илья вдруг вспомнил, что храм Христа Спасителя был взорван 5 декабря 1931-го. Он ничего не сказал Маше, у него сильно стукнуло сердце, и стало

жарко на морозе. К 6 декабря, к своему пятьдесят третьему дню рождения, товарищ Сталин, большевик Коба, недоучка-семинарист Сосо подарил самому себе «яму вместо храма».

Илья мгновенно отбросил эту мысль. Ерунда, случайное совпадение. Но сейчас, ночью в кабинете, под шорох страниц юбилейных номеров «Правды», он поймал себя на том, что в который раз перебирает в памяти даты и события.

После взрыва храма в следующие годы в начале декабря ничего особенного не происходило. Тридцать второй, тридцать третий... Опять сердце стукнуло. 1 декабря 1934-го был убит Киров.

Илья не понимал, зачем об этом думает. Перед ним лежали толстенные папки с копиями перехваченной дипломатической переписки, с записями речей Гитлера и Геббельса, стопки главных газет рейха. Гора бумаги – как всегда. Он должен был подготовить сводку к завтрашнему утру, то есть уже сегодня. Он скучал по Маше, ему хотелось домой. Слипались глаза, ныла шея.

Илья встал, открыл форточку, сделал несколько наклонов, приседаний, подвигал руками. Он задеревенел от долгого неподвижного сидения за столом, надеялся, что короткая гимнастика не только разогреет мышцы, но и мозги прочистит.

Ветер ворвался, окатил, как ледяным душем. Илья вспомнил, что Кирова хоронили 5 декабря. На следующий день после похорон началась новая эпоха, мясорубка стала набирать обороты в бешеном темпе. Именно убийство Кирова послужило сюжетным стержнем процесса тридцать шестого, тридцать седьмого, тридцать восьмого.

Илья вернулся за стол и несколько минут сидел, глядя в одну точку, на свое смутное отражение в стекле книжного шкафа. Он редко открывал этот шкаф, там стоял официальный набор книг, который положено иметь в рабочем кабинете чиновнику его уровня. Собрание сочинений Ленина, тома Маркса и Энгельса. В ряду скромных синих и серых корешков бросался в глаза один шикарный, малиновый. Подарочное издание «Краткого курса истории ВКП(б)».

В стекле Илья видел собственное лицо, разрезанное пополам высоким малиновым корешком. Парча переплета выткана золотом. Плотная шелковистая бумага. Крупный красивый шрифт. Таких изданий выпустили совсем немного, для членов Политбюро, для высшего партийного руководства союзных республик. Хозяин распорядился, чтобы его спецреференты тоже получили по экземпляру. Это было справедливо. Ни орденов, ни званий им не полагалось, а такой подарок дороже любого ордена.

Илья вспомнил, как Хозяин лично вручил ему малиновую с золотом роскошь. очередной вызов в кабинет, несколько пустых вопросов по сводке, потом пауза, долгий молчаливый взгляд в глаза. Наконец медленное движение, бесшумный проход по кабинету, еле слышный голос за спиной:

– Товарищ Крылов, вот вы работаете, честно работаете, вам должно быть обидно: другим награды, а вы ничего не получаете. Обидно вам это, товарищ Крылов?

– Да, товарищ Сталин, немного обидно. Но у меня зарплата хорошая.

Ответ понравился. Хозяин одобрительно хохотнул и произнес с улыбкой:

– Чтобы вы не обижались, мы тут приготовили скромный подарок для вас, товарищ Крылов.

Илья не видел, как оказался в руках Хозяина фолиант в малиновом парчовом переплете.

– Спасибо, товарищ Сталин. Такая награда из ваших рук дороже всех орденов на свете.

Ответ прозвучал, как всегда, искренне, голос слегка дрожал. Хозяин протянул ему правую кисть. Чтобы пожать ее, следовало положить книгу, одной рукой эту тяжесть не удержишь. Не дай бог уронишь. Ритуал будет испорчен. А положить некуда. Илья быстрым движением зажал фолиант под мышкой и освободил правую руку для державного рукопожатия.

Это было больше года назад, 6 декабря 1938-го.

«Вот тебе и нумерология, – думал Илья, – яма вместо храма. Образ Друга, Убитого Врагами. «Краткий курс». Три подарка тесно связаны между собой и знаменуют три главных этапа жизненного пути, от недоучки-семинариста до живого божества. Последний, итоговый подарок Сосо преподнес себе в честь круглой даты, на свое тайное шестидесятилетие. В нем и яма, и смерть Кирова, и конец реальности».

У книги была долгая, сложная предыстория.

В тридцатом году старый большевик Емельян Ярославский выпустил четырехтомник «Краткая история ВКП(б)». Солидный труд товарищу Сталину не понравился, он раскритиковал Ярославского в «Правде». К тридцать второму Политбюро приняло постановление «О составлении Истории ВКП(б)». Ярославский остался жив и вошел в число составителей.

К тридцать восьмому из дюжины составителей в живых остался все тот же Ярославский, да еще некто Пospelов, аппаратный чиновник. Эта пара тихо корпела над текстом и отправляла написанное Сталину. Ему ничего не нравилось, он все перечеркивал. Наконец заперся в кремлевском кабинете и стал писать сам, выдавал по главе в день, отправлял членам Политбюро, а заодно и Ярославскому с Пospelовым.

Благодарные первые читатели на полях рукописи писали: «*Работа прекрасная!*» (Ворошилов); «*Удивительно хорошо!*» (Калинин); «*Прочел с большим удовольствием*» (Хрущев); «*Категорически за!*» (Молотов).

В четвертой главе имелось лирическое отступление, небольшой философский этюд под названием «*О диалектическом и историческом материализме*». Этот вкусный кусочек читатели съели с особенным удовольствием. «*Миллионы людей получили возможность почти осязательно понять идеологию коммунизма*» (Калинин); «*Превосходно!*» (Ворошилов).

Ярославский и Пospelов захлебнулись восторгами, не уместившимися на полях. Бывшие составители строчили длинные любовные письма, каялись в ошибках, признавали свою бездарность, никчемность и выливали ушаты обожания на голову автору. Слово «СТАЛИН» оба писали только большими буквами.

«*Краткий курс истории ВКП(б)*». Так деловито, по-научному, озаглавил товарищ Сталин плод своего творчества. Произведение печаталось главами в «Правде» с сентября 1938-го. В ноябре вышла книга тиражом шесть миллионов, тираж был распродан за две недели, сразу выпустили еще четыре миллиона.

Обязательные коллективные читки проводились во всех учреждениях, на заводах, в колхозах, в школах, в больницах. Учителя, старшеклассники, преподаватели и студенты вузов учили наизусть целые главы, пересказывать своими словами считалось кощунством и вредительством. Текст перевели на языки всех союзных республик, а также на французский, английский, немецкий, польский, чешский, шведский, финский, испанский, итальянский, китайский, японский, малайский, болгарский, хинди.

К 6 декабря 1938-го, к шестидесятилетию недоучки-семинариста Сосо, на всей территории СССР вряд ли осталась живая душа, не обработанная «Кратким курсом», разве что младенцы и слепоглухонемые.

В начале тридцатых в Институте марксизма-ленинизма Илья по поручению тогдашнего своего начальника Толстухи перевел «Майн кампф» для товарища Сталина. Осенью тридцать восьмого ему выпала честь перевести на немецкий «Краткий курс», в срочном порядке, всего за полтора месяца.

Текст «Майн кампф» Илья успел подзабыть, но за переводом «Краткого курса» вспомнил и невольно сравнивал два шедевра.

Гитлер изложил свою сказку в двадцать третьем году. Ему исполнилось тридцать пять, он сидел в тюрьме. Его мало кто знал, но уже появились сподвижники, покровители, обожатели.

Для Сталина двадцать третий тоже стал своего рода точкой отсчета. Что он имел? Бюрократическую должность генерального секретаря, болезнь и беспомощность Ленина, склоки в

партийной верхушке. Никаких сподвижников-покровителей, ни одного обожателя. В отличие от Гитлера, он стартовал в полном, глухом одиночестве, взглядами и планами ни с кем не делился. Он сначала сделал свою сказку былью и только потом изложил в письменной форме. Почему? Слишком дорожил сказкой, чтобы заранее вываливать ее на бумагу? Или сам не знал, как повернется сюжет?

Гитлер подписал «Майн кампф» собственным именем. И хотя злые языки утверждали, что в создании шедевра участвовал еще кто-то, что в тексте много плагиата и ничего нового будущий фюрер в своем тюремном труде не сказал, все-таки сказка Гитлера была безусловно его сказкой, повествование велось от первого лица. Гитлер вообще всегда говорил и писал «я». «Я решил, я хочу, я знаю». Сталин это местоимение не жаловал. Его «я» пряталось за множеством псевдонимов: «Политбюро», «советское правительство», «партия», «линия партии».

На обложке «Краткого курса» мелкими буквами значилось: *«Под редакцией комиссии ЦК ВКП(б); одобрено комиссией ЦК ВКП(б)»*. Еще два новых псевдонима.

На совещании работников партийной пропаганды Хозяин изрек: *«Исторический материал служит служебным материалом»*.

Семинарист-недоучка на седьмом десятке все еще плохо владел русским языком и самим собой иногда владел плохо. Проговаривался. Но, разумеется, никто этого не замечал. Неуклюжую двусмысленную фразу слушатели встретили очередным взрывом аплодисментов. Сосо нахмурился и спросил:

– Для чего мы собрались?

Повисла трепетная тишина.

– Тут, товарищи, не митинг, – мрачно продолжал Сосо. – *Что вы только время отнимаете своими аплодисментами? Вот вы все хвалили, что книга такая, дает все и прочее. Нам здесь не похвала нужна, а помощь в виде поправок, замечаний, в виде указаний, происходящих из вашего пропагандистского опыта.*

Зал замер, а потом поправки и замечания посыпались горохом, одинаковые, как горошины: в книге недостаточно полно отражена руководящая, направляющая, организующая роль товарища Сталина.

С «Майн кампф» начался новый отсчет времени для Германии и для всей Европы, но ни Германия, ни Европа тогда, в двадцать третьем, еще не знали об этом. Никто тюремный шедевр не читал. Только узкий круг обожателей мог осилить бесконечный поток сознания, кишасший вшами, червями, сифилисом, раковыми опухолями, с которыми автор сравнивал евреев. Сюжета не было, среди поучений и рассуждений попадались автобиографические фрагменты и грандиозные планы борьбы со всем миром и с самой реальностью.

В «Кратком курсе» сюжет имелся, простой и грубый сюжет бульварного шпионского романа, щедро приправленный мрачной мистикой. Автобиографические фрагменты были совсем смутными, планов – никаких. Зачем делиться планами, если они уже выполнены? Сосо победил реальность и ликвидировал ее, как врага народа, под восторженные аплодисменты народных масс.

Каждая глава завершалась порцией магических заклинаний, они вбивались в головы бесконечными повторами.

В последней, двенадцатой главе четвертый параграф назывался *«Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей, изменников родины»*. Сосо посвятил им всего полторы страницы, но какие!

«Эти белогвардейские пигмеи, которых можно приравнять по силе всего лишь ничтожной козявке, видимо, считали себя для потехи хозяевами страны. Эти белогвардейские козявки забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа».

За счастливым финалом – окончательной победой «блока коммунистов и беспартийных» на выборах в Верховный Совет СССР 1937 года – следовало многостраничное «Заключение», каждый абзац начинался словами: *«История ВКП(б) учит...»*, и так двадцать раз, в ритме отбойного молотка.

На последней странице Сосо подробно, со множеством повторов, пересказал греческий миф об Антее и залил его цементом финального заклинания:

«Большевики напоминают нам героя греческой мифологии Антея. Они так же, как Антей, сильны тем, что держат связь со своей матерью – с массами, которые породили, вскормили и воспитали их. И пока они держат связь со своей матерью – с народом, они имеют все шансы на то, чтобы остаться непобедимыми. В этом ключ непобедимости большевистского руководства».

В рейхе «Майн кампф» считалась «библией национал-социализма». В СССР аппаратные чиновники между собой называли «Краткий курс» «Библией коммунизма». Прочие писания на тему ВКП(б) были изъяты из библиотек. «Краткий курс» означал конец времени, конец истории для населения СССР. Осталось много живых свидетелей событий, описанных в сказке, но они забыли, как было на самом деле, стали помнить прошлое страны и собственное прошлое строго по «Краткому курсу», не только из-за инстинкта самосохранения, но и потому, что созданная Сталиным механическая картина мира оказалась удобней живой реальности. Сталинская «библия» ответила на все вопросы, раз и навсегда освободила миллионы советских трудящихся от тяжелого бремени собственных мыслей.

После выхода книги директор Государственного музея революции, старый большевик Самойлов, попросил для музея черновики «Краткого курса». Письмо он передал Поскребышеву. Хозяин прямо на бланке музея черкнул ответ: *«Т. Самойлову. Не думал, что на старости лет займешься такими пустяками. Ежели книга издана в миллионах экземпляров – зачем Вам рукописи? Чтобы успокоить Вас, я сжег все рукописи. С приветом. И. Сталин».*

Илья иногда ненавидел свою память. В голове хранились тонны аппаратной макулатуры. Ему снилось, что его организм состоит не из живых клеток, а из слов, отстуканных на машинке, написанных от руки, косым, скачущим почерком Хозяина. Остроугольные, рваные буквы, первая всегда крупная, четкая, к концу слова – кривой бисер. Пометы на полях, гвозди восклицательных знаков, «ха-ха!», жирные кривые подчеркивания.

Он забывал лица, звуки, запахи, события, но помнил наизусть почти каждый прочитанный текст. Вот и эта записка застряла в мозгу. Слово «все» Хозяин подчеркнул.

Конечно, черновиков не осталось. Какие черновики у «библии»?

«Вот тебе и нумерология, – подумал Илья, уже спокойно, без дрожи и стука сердца, – время остановилось. Прошлое исчезло, будущего не будет. Будущее означает перемены, движение. Но чему меняться? Кому и куда двигаться? Победа блока коммунистов и беспартийных окончательна и обжалованию не подлежит. Интересно, Гитлер читал «Краткий курс»? Трудно представить. Вряд ли он вообще знает о существовании книги, остановившей время. А Сталин читал «Майн кампф» очень внимательно, однако так и не понял, что сей шедевр запустил новый отсчет времени, не только для европейского континента, но и для него лично».

Дверь открылась, сквозняк скинул газеты на пол. Поскребышев заглянул в кабинет.

– Сидишь?

– Сижу, Александр Николаевич.

– Ма-ла-дэц. – Он мягко спародировал акцент Хозяина и добавил уже своим нормальным голосом: – Учти, завтра тоже до утра.

Илья покорно кивнул. Завтра, то есть уже сегодня, – тридцать первое декабря. Придется встретить Новый, тысяча девятьсот сороковой, год в этой постылой клетухе, под звон курантов, такой близкий, что иногда закладывает уши.

Поскребышев удалился. Илья закрыл форточку, поднял с пола газеты, машинально отметил ошибку в ответе Риббентропу. Напечатали «*господину Иоахим фон Риббентроп*». То ли дежурный редактор напутал, то ли наборщики. В общем, ерунда, и сами эти поздравления ерунда. Юбилеи закончились 6 декабря 1938-го. Куранты бьют, стрелки движутся, меняются цифры на календаре. В буфете шампанское, севрюга, шоколад, мандарины. Можно заказать все себе в кабинет. Маша нарядила елку на Грановского. Новый год встретит у родителей, на Мещанской. Они чокнутся, пожелают друг другу счастья и чтобы наступивший сороковой был не хуже ушедшего, тридцать девятого. Никто не решится спросить Машу, где ее муж. Ясно, на службе, на своей сверхсекретной, сверхважной службе.

– Господи помилуй, – прошептал Илья и продолжил работу над сводкой.

Глава четвертая

Доктор Штерн вызвал к доске курсанта Наседкина, попросил прочитать наизусть кусок из «Фауста» Гёте.

Толик Наседкин, коренастый, белобрысый, почти альбинос, попал в Школу особого назначения при ГУГБ НКВД из Чебоксар, по комсомольской путевке. В Чебоксарах он работал механиком на автобазе. Зачем его отправили учиться на разведчика, чего от него хотят, Толик не понимал, но радовался койке в общежитии, добротному казенному обмундированию, мясному супу в столовой. Из всех предметов ему кое-как давалось только радиodelo. Прочее было мучением. Отрывок из Гёте он учил третий месяц и не мог запомнить, спотыкался каждый раз на одной и той же строке, багровел, потел, начинал сначала.

Карл Рихардович подсказал ему злосчастную строку и несколько следующих, но без толку. Наседкин насутился и молчал. Класс терпеливо ждал.

Их было десять человек, так называемая «немецкая группа». А всего в ШОН обучалось семьдесят курсантов. Возраст от девятнадцати до тридцати. Большинство из провинции, ни одного с законченным высшим образованием.

Карл Рихардович работал в ШОН уже год и до сих пор удивлялся бессмысленной случайности отбора. Вступительных экзаменов они не сдавали. Каждого сопровождала куча бумаг. Партийно-комсомольские рекомендации, характеристики, медицинские карты, многостраничные анкеты. Главными критериями были рабоче-крестьянское происхождение, отсутствие родственников за границей, отсутствие связей с врагами народа. Интеллект, хорошая память, способности к иностранным языкам и перевоплощению, наконец, простое человеческое обаяние, необходимое в работе разведчика-нелегала, не учитывались и в партийно-комсомольских характеристиках не значились.

В тишине из предпоследнего ряда раздался низкий женский голос. С той строки, на которой остановился доктор Штерн, и дальше, нараспев, с отличным берлинским произношением, курсант Люба Вареник продекламировала длинный монолог Фауста до конца.

Она была из Вологды, окончила восемь классов и педучилище. Маленькая, с коротко стриженными каштановыми волосами, с круглыми светло-кариими глазами, она выглядела лет на четырнадцать, глубокий низкий голос не соответствовал ее детскому сложению, подвижному курносому лицу. Когда Люба открывала рот, получался странный эффект, словно тростниковая дудочка издает звуки органа.

Последние слова «Явись, явись, явись! Пусть это будет стоить мне жизни!» Люба произнесла так выразительно, что Карл Рихардович не удержался, продолжил: «Кто звал меня?»

Они по ролям дочитали диалог, курсант Вареник за Фауста, доктор Штерн – за Духа, явившегося на зов.

– Отлично, фрейлейн, – сказал Карл Рихардович, – было бы очень любезно с вашей стороны немного подтянуть юношу Наседкина.

– Простите, господин Штерн, я уже пыталась, бесполезно.

Класс понял каждое слово. Толик разобрал лишь свою фамилию и растерянно захлопал белыми ресницами.

– Ладно, курсант Наседкин, с Гёте у вас отношения не складываются, – обратился к нему Карл Рихардович по-русски, – давайте попробуем вспомнить, какие в Германии есть пивные, как они называются и чем друг от друга отличаются.

Толик покраснел и сморщил лоб. Поднялось несколько рук. Карл Рихардович отрицательно помотал головой и приложил палец к губам, чтобы никто не подсказывал.

Тишина длилась пару минут, наконец Толик выдал растяжкой и рычанием слово «бир-р».

- Ну-ну, курсант Наседкин, вы на правильном пути, – подбодрил его Карл Рихардович.
- Бирр... – грустно повторил Толик и затих.

Люба Вареник тянула руку и подпрыгивала от нетерпения. Рядом с ней сидел Владлен Романов, мощный, бритоголовый, с приплюснутым носом и квадратной челюстью. Он успел окончить четыре курса юридического факультета Казанского университета, был чемпионом Казани по шахматам, хотя больше походил на чемпиона по боксу. Его имя означало сокращенное «Владимир Ленин», а фамилия была царская. На грубом, тяжелом лице нежно сияли небесно-голубые глаза, опушенные девичьими длинными черными ресницами. Крупные оттопыренные уши придавали суровому облику трогательную незащищенность. Доктор Штерн про себя называл Владлена Романова «единство противоположностей» и считал его самым способным учеником после Любы Вареник. Следующие восемь шли с большим отрывом, на последнем месте стоял бедолага Толик. Это было чудо – при таком случайном подборе два очевидно талантливых человека из десяти.

Вздохнув и взглянув на часы, Карл Рихардович сказал:

- Курсант Романов, помогите курсанту Наседкину.

Владлен поднялся и заговорил на отличном немецком:

– Бирхаус. Пивной ресторан при пивоварне, с определенными сортами пива и множеством горячих блюд. Биркеллер – подвал, подают только свежесваренное пиво. В гасштатте ходят каждый день, там собираются завсегдатаи, что-то вроде клуба по интересам. Кнайпе – маленький кабачок, там только легкие закуски к пиву. Кнайпе распространены в Пруссии, их много в Берлине. Это дешевое заведение для рабочих и студентов. Локаль – тоже ресторан, в локаль приходят по выходным, по праздникам. Там принято хоровое пение, традиционное немецкое качание. Биргартен типичен для Баварии. Пивная на открытом воздухе, под каштанами, с длинными скамейками и столами. Обязательно играет музыка. Можно приносить еду с собой.

– Спасибо, курсант Романов, садитесь. – Карл Рихардович повернулся к Толику: – С пивными не лучше, чем с Гёте. Ладно, курсант Наседкин, попробуйте вспомнить хотя бы пару пригородов Берлина.

На доске висела подробная карта, каждый район был выделен своим цветом, названия обозначены крупными буквами. Но Толик не догадался обернуться. Глаза его заблестели, щеки залились румянцем.

– От это могу, а че тут не мочь-то, могу! От там есть такой пригород, вроде поселка, называется Дальний! – он с победной улыбкой оглядел класс.

Послышались сдержанные смешки.

– Ничего смешного, дамы и господа, – тихо сказал Карл Рихардович по-немецки и добавил по-русски, громко: – Курсант Наседкин имел в виду Далем. Просто немного ошибся.

Грянул звонок. Класс радостно загремел стульями, все ждали праздника, в актовом зале нарядили елку. Люба подошла к столу. От нее пахло «Красной Москвой», на носу скаталась комочками розовая скверная пудра, на губах блестела малиновая помада. Девушкам-курсантам запрещалось пользоваться пудрой и помадой, да и не шло это маленькой Любе. Он не сказал ни слова, но она покраснела, объяснила смущенно:

- Я в честь праздника.

– Заметит комендант, будет вам, курсант Вареник, в честь праздника внеплановый шмон.

– Не заметит, пьяненький с утра, – прошептала Люба и, кашлянув, произнесла громко, своим органом контральто: – Товарищ Штерн, от имени и по поручению комсомольской организации приглашаю вас на праздничный вечер.

- Спасибо, я привык дома, по-стариковски.

– Что значит – по-стариковски? Какой вы старик? Слушайте, ведь завтра Новый год! Мы концерт подготовили, карнавал, разные смешные сюрпризы, танцы.

– Люба, я бы с удовольствием, но меня будут ждать.

– Кто? – Она испугалась собственного вопроса, зажала рот ладонкой и пробормотала по-немецки: – Простите, господин Штерн, я понимаю, это бестактно, не мое дело, но я знаю, семьи у вас нет.

– Нет, – Карл Рихардович улыбнулся и развел руками, – семьи нет. Я с соседями привык встречать, соседи по квартире, они для меня почти семья.

Люба молча кивнула и убежала.

Карл Рихардович не спеша уложил в портфель тетради. В коридоре натирали полы. Мастика пахла медом, два курсанта в майках и галифе исполняли веселый танец полотеров, к босым ногам были пристегнуты щетки брезентовыми ремешками, один напевал, подражая Утесову: «С одесского кичмана сбежали два уркана», другой аккомпанировал при помощи художественного свиста и шлепал себя по коленкам в такт. Увидев преподавателя, они остановились, гаркнули хором:

– Здравия желаю, товарищ Штерн!

– Привет, ребята, – доктор улыбнулся и пошел дальше к лестнице.

Послышались смех и топот. Карлу Рихардовичу пришлось посторониться, мимо пробежал табунок курсантов обоего пола в русских народных костюмах. Они спешили в актовый зал, на генеральную репетицию перед завтрашним концертом. По стенам кто-то развесил самодельные бумажные гирлянды. Зайчики, снежинки.

Еще недавно встречать Новый год запрещалось. Только в декабре тридцать пятого разрешили, елку реабилитировали, звезду объявили не рождественской, а советской. Единственный неофициальный праздник сразу затмил все официальные. Ни 1 Мая, ни 7 Ноября не сопровождались таким искренним весельем, дурашливой суетой. Выходных не давали, 31 декабря и 1 января были обычными рабочими днями, но никто не спал в новогоднюю ночь.

На площадке между этажами стоял и курил крепкий широкоплечий мужчина. Костюм сидел на нем как влитой. Конечно, заграничный или сшитый в спецателье. Идеальный узел галстука, идеальный воротничок сорочки, каштановая шевелюра зачесана назад, волосок к волоску. Мужественное лицо, правильные черты. Красавец.

– Добрый день, товарищ Штерн.

– Здравствуйте, Павел Анатольевич.

Они поравнялись, обменялись рукопожатиями.

При встречах с красавцем капитаном ГБ в стенах школы Карла Рихардовича слегка знобило. Из всех преподавателей этот капитан был единственным, кого доктор знал еще до начала работы в ШОН. Кое-что их объединяло. Спецлаборатория «Х» при 12-м отделе. Там экспериментировали с отравляющими и психотропными веществами. В качестве подопытных кроликов использовали приговоренных к высшей мере. Для испытаний «таблетки правды» понадобился профессиональный психиатр. До ноября тридцать восьмого доктор Штерн числился в лаборатории внештатным консультантом. А потом ему повезло: по личному распоряжению нового наркома Берия он стал преподавателем.

Капитан работал в Иностранном отделе, был одним из заказчиков спецпродукции, иногда присутствовал при испытаниях.

«Мы с ним соучастники, мы оба преступники, – думал доктор, – мое путешествие в ад закончилось, а он, вероятно, продолжает туда наведываться. Что он чувствует? Люди, которые там работают, давно перестали быть людьми. Они ничего не чувствуют. Бессмысленно их судить, их надо изолировать, как бешеных животных. Но капитан – человек. Он должен оставаться человеком, ему нужно хорошо соображать, а бешеное животное не соображает. Среди приговоренных его бывшие коллеги. В любой момент он может оказаться на их месте. Это помогает ему поверить в их виновность?»

Предмет, который преподавал в ШОН красавец капитан, именовался «спецдисциплиной». В расписании все прочие предметы назывались прямо: радиodelo, шифровальное дело, взрывное дело, документoведение, фотогpафирование. Доктор Штерн преподавал странoведение (Германия), немецкий и основы психологии.

На занятиях по «спецдисциплине» курсанты обучались методике проведения «спецoпераций». Так на профессиональном языке назывались убийства и похищения людей за границей. Курсанты придумали для капитана кличку – Хирург.

Пожимая руку Хирургу, Карл Рихардович увидел мрак в серых глазах. Обычно капитан был улыbчив, любезен, а сейчас лицо потяжелело, широкие черные брови сдвинулись, губы поджались и рука показалась какой-то деревянной.

«Кажется, у него серьезные неприятности», – подумал доктор и не стал поздравлять капитана с наступающим Новым годом.

* * *

Каждое утро Эмма шла на работу с отвратительным чувством, что сегодня будет хуже, чем вчера. Институт день за днем погружался в какое-то военно-бюрократическое болото.

Унизительные проверки, идиотские правила секретности, строжайшая цензура, без которой не могла выйти ни одна статья, ни один реферат, – все это смертельно надоело. Домашний телефон прослушивался. Не дай бог забыть дома пропуск.

Конечно, участие в проекте давало огромные преимущества. Прежде всего бронь, ну и повышение оклада.

С первых дней войны стали призывать в армию не только молодых ученых, но и тех, кому под сорок. Плоскостопие и близорукость вроде бы освобождали Германа от призыва, но ползли слухи, что перечень медицинских показаний каждый месяц сокращается. С плоскостопием не возьмут в пехоту, а в танковые и мотострелковые войска могут. В сентябре ограничения по зрению были минус-плюс три, а теперь берут, у кого минус-плюс четыре.

Герман, человек сугубо штатский, капризный, избалованный, панически боялся получить повестку, и, хотя уже в сентябре стало ясно, что никого из нескольких сотен членов «уранового клуба» не призовут, он немного успокоился, лишь когда институт официально перешел в подчинение Управления вооружений сухопутных войск. Это давало самую надежную бронь из всех возможных.

Как только Общество кайзера Вильгельма подписало договор с управлением о передаче своих институтов военному ведомству, директор Петер Дебай попрощался со своими сотрудниками. Известнейший физик-экспериментатор, нобелевский лауреат Дебай был гражданином Голландии. Иностранец не мог возглавлять учреждение, занятое сверхсекретными военными исследованиями. Дебаю предложили принять германское гражданство либо подать в отставку. Он не сделал ни того ни другого, уехал в Америку читать курс лекций в Принстоне, но все понимали, что не вернется.

В директорском кабинете, который до Дебая занимал фон Лауэ, а еще раньше – Эйнштейн, теперь обосновался некто Курт Дибнер, эксперт по взрывчатым веществам из Управления сухопутных вооружений.

В институте знали, что именно Дибнер выбил огромные деньги на финансирование исследований, добился квоты на бронь. Но работать под его началом было унижительно. Ни пробивные способности, ни докторская степень, ни очки в толстой роговой оправе не превращали военного чиновника в ученого. Даже тупые солдафоны из управления догадывались, что Дибнер не может занять место нобелевского лауреата Дебая, и должность его скромно обозначили «временно исполняющий обязанности».

В институте считали, что директором должен стать Гейзенберг. Но Дибнер не собирался уступать, а Гейзенберг не хотел переезжать в Берлин из родного Лейпцига. В своем физико-химическом институте при Лейпцигском университете он занимался той же урановой темой и чувствовал себя свободней, чем в Берлине.

Карл Вайцеккер, молодой талантливый сноб, сын высокого чиновника МИДа, автор оригинальных работ о превращении элементов в недрах звезд, близкий приятель Гейзенберга, все-таки уговорил его приехать в Берлин и одновременно внушил Дибнеру, что Гейзенбергу карьерные амбиции чужды, на директорский пост он не претендует, достаточно пригласить его в качестве консультанта. Участие мировой величины поднимет не только эффективность, но и статус проекта.

Слово «статус» подействовало, Дибнер клюнул.

Конечно, все мечтали попасть в команду Гейзенберга. Эмма слышала, что их фамилия есть в заветном списке, но не смела надеяться. Герман всю прошлую неделю ждал, нервничал, заранее копил обиду, ворчал, что Гейзенберг – раздутая величина, подумаешь, нобелевский лауреат! Уж мы-то знаем, успех в науке зависит от связей, случайных удач, умения интриговать, пробиваться, дружить с нужными людьми, а такая «ерунда», как талант, никого не интересует.

Глупости типа «Гейзенберг – раздутая величина» выдавали крайнюю степень раздражения и нетерпения.

О том, что Гейзенберг включил чету Брахт в свою группу, стало точно известно за день до его приезда из Лейпцига. И вот сегодня утром прошло первое заседание. Потом пили кофе в комнате отдыха.

Впервые за многие годы у Эммы возникло почти забытое чувство свободы, легкости общения. Она словно вернулась в прекрасное прошлое. Вместо собраний и митингов – пикники, велосипедные прогулки, теннис, домашние вечеринки, розыгрыши, музыка. Конечно, в прекрасном прошлом тоже были интриги, зависть, конкуренция, но доносов не писали. Сотрудники института при встрече говорили друг другу «добрый день», обменивались рукопожатиями и улыбками, а не вскидывали руки с лающим возгласом. При таком приветствии разве улыбнешься? Надо оставаться серьезным. Эта серьезность въелась в лицевые мышцы, как формалин. Эмма приспособилась, привыкла, а тут вдруг словно распахнулись окна в душевной комнате.

Слушать Гейзенберга, следить за ходом его мысли было все равно что дышать свежим воздухом. Мозги прочищались, исчезала усталость от ежедневной рутины, от бесконечного топтания вокруг крошечных прикладных задач. Шелуха отлетала, физика представляла в своем изначальном великолепии.

«Если есть бог физики, то это не Эйнштейн, – думала Эмма. – Всклоченные волосы, мятый пиджак, коротковатые брюки, ботинки на босу ногу, лицо, как морда старого сеттера, жалкая скрипочка. Ничего божественного. Бог физики, конечно, Гейзенберг. Гордая осанка, безупречная элегантность, футбол, фортепиано».

У Гейзенберга был тихий, глуховатый голос, светлые пушистые брови нависали низко над глазами, затеняли их острый блеск. Когда он рассказывал о проекте реактора на обогащенном уране, его мягкое улыбчивое лицо стало строже, сосредоточенней. Он предлагал использовать в качестве замедлителей чистый графит и тяжелую воду. В теории все выглядело красиво. Гейзенберг был гениальный теоретик.

Эмма знала, что в Германии графита нужной чистоты нет, его нигде нет, технологии такой высокой очистки графита пока не разработаны. Единственный в мире завод, выпускающий тяжелую воду, находится в Норвегии. Даже если скупить ее всю, до капли, хватит только на первый этап экспериментов. Производство одного грамма тяжелой воды съедает сто киловатт электроэнергии, а нужны десятки, сотни тонн. Уран добывают в Богемии, в Судетах, круп-

ные поставки идут из Бельгийского Конго, через Бельгию, но способов обогащения урана еще никто не придумал. Разделение изотопов тяжелых элементов – одна из самых сложных задач экспериментальной физики. Эмма и Герман давно занимались изотопами, приходилось работать и с ураном. В лаборатории они имели дело с ничтожными количествами вещества. Промышленные масштабы Эмма представить не могла. Но Гейзенберг так внятно и просто формулировал задачи, что сомнения таяли.

Когда пили кофе, Гейзенберг сказал, что урановая бомба будет размером с ананас, и показал ладонями объем.

Кто-то с комическим испугом спросил:

– А этот ананас не пробьет земную кору?

– Ни в коем случае, – ответил Гейзенберг, – мы все рассчитаем заранее. С нами фрау Брахт, наша прекрасная Эмма считает так тщательно и точно, что ошибки исключены, – и он поцеловал ей руку.

Она едва сдержалась, чтобы не чмокнуть маленькую розовую лысину на макушке Гейзенберга, когда он склонился к ее руке. Она истосковалась по доброму слову, пусть даже сказанному в шутку. Планк иногда благосклонно отзывался о работе Германа, но фрау Брахт существовала лишь как бесплатное приложение к мужу, никто из корифеев не замечал ее, не помнил имени.

Герман то ли не услышал слов Гейзенберга, то ли не обратил на них внимания. Участие в команде он теперь воспринимал как само собой разумеющееся, иначе и быть не могло. Гейзенберг из «раздутой величины» снова превратился в гения.

По дороге домой Герман не закрывал рта. И опять все то же: «я, мои статьи, моя тема».

– Игры закончились. Для серьезной работы нужны настоящие ученые. Моя тема тут ключевая... Черт возьми, ведь это фантастика, священный Грааль, магическая энергия Вриль, самое сокровенное, что есть в природе... В голове не укладывается... Мы ведем диалог со Вселенной, на равных... Бомба – всего лишь промежуточный этап на пути к великой цели, тростинка Прометея, в которой он принес людям огонь из очага Зевса. Ну и конечно, разумный способ сохранить миллионы жизней. В Польше погибло тысяч двадцать наших солдат, таких потерь больше не будет. Германия выиграет войну быстро и бескровно...

Эмма не прислушивалась к его болтовне, но эта фраза вдруг застряла в мозгу, стала повторяться опять и опять, как на испорченной граммофонной пластинке. Герман продолжал свой монолог, а Эмма слышала одно и то же: «Быстро и бескровно». Каждый повтор убавлял радость, словно откалывал от нее по кусочку.

«Зачем он это сказал? – застонала про себя Эмма. – Зачем он испортил такой чудесный день? Да, быстро. Никто не успеет опомниться. Да, бескровно. Люди, на которых упадет урановая бомба, сгорят, как бумага, не то что крови, пепла почти не останется».

– Ты подумай, ведь никогда еще наука не подходила так близко к решению глобальных геополитических задач, – продолжал Герман, – электричество, телеграф, телефон сильно изменили мир, но не избавили от войн, не накормили голодных, не искоренили преступность. Наоборот, возникло государство-преступник, большевистская Россия...

В мозгу Эммы продолжали пульсировать слова: «Быстро и бескровно». Она не могла от них избавиться.

– Столкновение неизбежно, никакими иными способами чуму большевизма не одолеть. Война с Британией всего лишь трагическое недоразумение. Настоящая война будет там, на Востоке. Учитывая колоссальные пространства, ужасный климат, сотни миллионов безумных дикарей, покорных своему большевистскому Чингисхану... Они ко всему привыкли, их кладут на рельсы вместо шпал. Ну, скажи, разве полноценные человеческие существа позволят так с собой обращаться? Дикари, тупое стадо. Вряд ли они способны производить современное оружие, но их чудовищно много, им не хватит боеприпасов – они зарядят пушки собствен-

ными головами, их жизни ничего не стоят, они облепят наши танки, как термиты, и прогрызут броню... Ты же понимаешь, дело не в расовых различиях, – он понизил голос, – дело в идеологической заразе. Зараженных невозможно вылечить, но необходимо спасти здоровых.

В голове Эммы бесконечно повторялось: «Быстро и бескровно». Ее рука соскользнула с его локтя. Она взглянула на часы и произнесла:

– Ох, прости, совсем забыла, я должна навестить Вернера, проверить, все ли в порядке, проконтролировать новую горничную.

– Европейская цивилизация в опасности, пока рядом существует этот гигантский чумной барак.

Он никогда не слышал ее с первого раза. Пришлось повторить. Наконец до него дошло. Он остановился, посмотрел удивленно и обиженно:

– Разве ты планировала сегодня идти к нему? Мы вроде бы собирались поужинать вместе.

Она поправила его шляпу, застегнула верхнюю пуговицу пальто.

– Надо пополнить запасы, новая горничная, полька, совсем не говорит по-немецки и пока не может покупать продукты. Я ненадолго, не сердись.

Они стояли возле остановки, и как раз подъехал нужный трамвай. Эмма поднялась в вагон, помахала рукой и улыбнулась Герману из окна. Он кивнул в ответ и побрел дальше, к дому. Трамвай тронулся, она проводила взглядом его высокую сутулую фигуру. Она знала, что он продолжает бормотать на ходу неоконченный монолог.

«Жаль, я не могу поделиться с Вернером своей радостью, – думала Эмма, – он хотя бы не испортит ее геополитическими глупостями».

Между тем от радости уже ничего не осталось. Колеса трамвая стучали, и в этих ритмичных звуках Эмме чудилось бесконечное повторение: «Быстро и бескровно, быстро и бескровно».

* * *

Хозяин не мог допустить, чтобы весь массив информации о настроениях в стране был бесконтрольно сосредоточен в руках Берия. Материалы из глубинки шли не только в НКВД для принятия мер, но и в Особый сектор «для ознакомления». Спец-референты сверяли справки и доклады, поступавшие к Хозяину от руководства НКВД, со сводками из областей, по которым они были составлены. Истина таким образом не прояснялась, зато поддерживалось взаимное недоверие между Лубянкой и Особым сектором. Ни Берия, ни Меркулов никогда точно не знали, кто именно из двенадцати спецреферентов их проверяет, и ненавидели всех сразу.

Илья при всяком удобном случае старался показать Берия свою лояльность. Однажды Хозяин вызвал его, когда Берия комментировал очередную справку о настроениях народных масс. Поскребышев ввел Илью в кабинет, поставил за спинкой стула, на котором сидел Берия, и шепнул на ухо: «Стой тут, не двигайся».

Берия обернуться не мог, поскольку во время доклада полагалось смотреть в глаза Хозяину. С каждой фразой нарком все сильнее ненавидел спецреферента. Так и было задумано. Илья чувствовал кожей накал этой ненависти и, глядя на лысую бугристую голову наркома, повторял про себя: «Я тебе не враг, не враг, нам делить нечего».

Хозяин перебил Берия внезапно, на полуслове, коротким резким жестом, и обратился к Илье:

– Скажите, товарищ Крылов, вам не кажется, что товарищ Берия сгущает краски?

Прежде чем ответить, Илья сделал шаг в сторону, чтобы не стоять у Берия за спиной и не задумываясь ответил:

– Товарищ Сталин, в докладе товарища Берия, на мой взгляд, преувеличений нет.

– Что же, по-вашему, советский народ не одобряет политику партии? Почему так много критических замечаний о наших мирных соглашениях с немцами? – щурясь от папиросного дыма, спросил Хозяин.

– Товарищ Сталин, бабы в очередях болтают, а сотрудники самое остренькое фиксируют. Треп он и есть треп.

Илья давно усвоил этот слегка дурашливый доверительный тон. Набор слов не имел значения. Хозяин мог придаться к любому, самому невинному слову, все зависело от его настроения. Главное, следить за мимикой и тембром голоса, смотреть прямо в глаза, не менять интонации, не удивлять, не создавать дискомфорта, не выходить за пределы привычного образа говорящего карандаша.

Илье в тот раз так и не удалось заглянуть в лицо Берия. Оставалось надеяться, что нового наркома устраивают простодушные ответы спецреферента, что он не затаил злобу, не заподозрил в Крылове тайного врага. В самом деле, делить им нечего. Берия отлично понимает, что на его место спецреферент Крылов претендовать никак не может, а продвинуть своих людей в Особый сектор Хозяин ему все равно никогда не позволит.

В отличие от Ежова, новый нарком был психически здоров и вполне способен понимать.

Ежов убивал всех подряд, без разбора, без всякой цели, чем больше, тем лучше, действовал только с разрешения Хозяина, интриг за его спиной не выстраивал, о собственной выгоде не заботился. Хозяин оставался для него единственным божеством. А для Берия никаких божеств не существовало. Он заботился исключительно о собственной выгоде, интриговал непрерывно, убивал выборочно и прагматично. В принципе, мог быть опасен даже для Хозяина. Его назначение свидетельствовало, что чутье Сталина притупилось. Не было в товарище Берия фанатичной преданности, которая недавно светила в фиалковых глазах Ежова. В отличие от Молотова, Ворошилова, Кагановича, он не растворился в сталинской реальности без остатка, под лстивой личиной скрывалась личность, патологически жестокая и вполне самостоятельная.

«В общем, ничего нового, – думал Илья, – правила игры все те же. Угадать, угодить, уцелеть. Только теперь получается не три, а шесть “у”, лавировать приходится между Хозяином и Берия. Все-таки прагматик-уголовник безопасней для страны, чем фанатик-маньяк, особенно сейчас, накануне большой войны. В этом смысле Сталин, конечно, прав, что назначил Берия».

В открытой папке перед ним лежала копия особо секретной справки за подписью Берия:

«По сообщениям ряда УНКВД республик и областей (Киевская, Рязанская, Воронежская, Орловская, Пензенская, Куйбышевская обл., Татарская АССР), за последнее время имеют место случаи заболевания отдельных колхозников и их семей по причине недоедания. Проведенной НКВД проверкой факты опухания на почве недоедания подтвердились».

Вот так. Ни тебе вредителей, ни троцкистов, ни заговоров. «Имеют место случаи».

После отмены нэпа такие случаи имели место постоянно, только цифры разнились. В начале тридцатых в деревне от голода пухли и погибали миллионы. В тридцать пятом, в тридцать шестом – десятки тысяч. Единственным более или менее сытым годом оказался тридцать седьмой. Урожай зерновых выдался необыкновенно богатый.

В январе 1939-го цены на одежду и промтовары удвоились. Молотов по радио гарантировал, что теперь цены будут только снижаться. Сороковой год начался новым повышением цен на сахар, картошку, молоко, мясо, на ткани и готовую одежду.

Политбюро настроило очередную порцию постановлений об усилении борьбы с очередями.

Для тех, кто не имел доступа к закрытым спецраспределителям, то есть для девяноста пяти процентов людей, стояние в очередях оставалось единственным способом добыть еду и одежду. Место в очереди было целью, средством, товаром и профессией под названием «стояльщик». За место сражались, его теряли и обретали, покупали и продавали. Сложилась целая

наука – когда и куда встать, как выстоять в жару, в мороз, под дождем, как избежать милицеейской облавы, как пробиться внутрь магазина и не быть побитым, как продрасться к прилавку и не быть раздавленным. Очередь имела свои ритуалы, праздники и тризны, свою элиту, свой фольклор в виде анекдотов и слухов, свои подробные многотомные летописи в виде сводок НКВД.

«Ночью на улице Горького возле магазинов можно наблюдать сидящих на тротуаре людей, закутанных в одеяла, а поблизости в парадных – спящих на лестнице. Магазин «Ростекстильшвейторга» (Кузнецкий Мост). Очередь примерно шесть тысяч человек. Ленинградский универмаг. К 8 часам утра очередь тысяча человек. Нарядом милиции было поставлено 10 грузовых автомашин с целью недопущения публики к магазину со стороны мостовой. Народ хлынул на площадку между кинотеатром «Спартак» и цепью автомашин. Создались невозможный беспорядок и давка. Сдавленные люди кричали. Милицейский наряд оказался бессилем что-либо сделать, и, дабы не быть раздавленным, забрался в автомашины, откуда призывал покупателей к соблюдению порядка».

Очереди обслуживал огромный штат осведомителей, они терпеливо просеивали тонны серого песка обыденных разговоров, выбирали и записывали самое, на их взгляд, важное, опасное, антисоветское:

«В деревне ничего нет, а здесь тоже в очередях мучаешься, ночами не спишь... Белого хлеба вообще нет, забыли, какой он на вкус, только черный, да и тот стал несъедобный, жмых, отруби, дают кило в руки, раз в неделю, на семью. Хоть бы карточки вернули, мыла три месяца не видели, дети в школе вишвые... Хожу в рваных брюках. Взял отпуск на 5 дней, простоял в очередях, а брюк не достал».

Но попадалось и кое-что посерьезней: *«Угадай, как расшифровывается СССР? Смерть Сталина Спасение России»; «Скорей бы пришел Гитлер, отменил бы колхозы»; «Будет война, первым пойду воевать против советской власти».*

Читая сводки, Илья каждый раз думал: «Вот они болтают, болтают. А что им еще остается? Одна радость – потрепаться, душу отвести. Потом на заводах, в конторах, в колхозах, в больших и малых городах единодушно одобряют, единогласно голосуют, отбивают ладони при каждом упоминании Сталина, и доносы строчат, и речи толкают на собраниях. Те же люди. Бедолага, оставшийся без штанов, шутник, расшифровавший аббревиатуру, храбрец, готовый воевать против советской власти. Гестапо тоже получает сводки о народных настроениях и разговорах. Вряд ли там есть такое: «Скорей бы пришел Сталин». Недовольных режимом поменьше, чем у нас. На нехватку хлеба и штанов немцам жаловаться не приходится. А что будет, если, напав и заняв какую-то часть нашей территории, Гитлер отменит колхозы? Могут поверить ему, особенно крестьяне. Им-то уж точно терять нечего. Отменит колхозы, даст крестьянам землю, что тогда?»

Илью зазнобило от этой мысли, но он сразу ее отбросил, потому что читал «Майн кампф». Для Гитлера на Востоке людей нет. Рабы, недочеловеки. Ни черта он не даст. Будет грабить и убивать. Иллюзии несчастных анонимов разлетятся вдребезги.

Сводки последних месяцев были пропитаны ожиданием войны, причем не с какими-то абстрактными капиталистами, а с Германией. Что Гитлер скоро нападет, знали все. Об этом говорили постоянно, открыто, писали в письмах, перлюстрированных НКВД.

Сразу после публикации в «Правде» поздравительных телеграмм Сталину и его ответа Риббентропу (*«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»*) по Москве пошел гулять перифраз: *«Дружба, скрепленная польской кровью, будет еще длительней и прочней, скрепившись кровью русской».*

В областных НКВД не хватало кадров. Чувствовалась растерянность. Новички, не прошедшие ежовской выучки, не справлялись, халтурили, закидывали центр горами бумаг, иногда даже не разобранных.

В очередной папке Илья обнаружил кусок оберточной бумаги, исписанный чернильным карандашом, крупным корявым почерком полуграмотного крестьянина и украшенный сверху жирной свастикой:

«Товарищи! Все люди села Долгоруково, колхозники и служащие. Вы видите, какое Ваше положение безвыходное. Власть негодная и хлебом не кормит. Примите это объявление. Просите хлеба. Идите против правителей села и города и губернии и столицы. Эх Вы, за что они Вас мучают. Просите хлеб всем селом. Выходите все. В колхозе хлеба не дали. Товарищи, бунтуйте каждый день, пока хлеба не дадут. Просите паспорта. Объявление от всей нашей партии».

В сопроводительной справке пояснялось, что не менее десяти таких листовок было прилеплено к стенам клуба, сельсовета, сельмага и прочих общественных зданий в селе Долгоруково Саратовской области. Стояли соответствующие резолюции: выявить и строго наказать виновных.

В следующей папке – еще одна рукопись. Тетрадные страницы. Чернильный карандаш. Детский почерк.

«Как я провел зимние каникулы.

Я, Соколов Алеша, ученик 6-го класса группы «Г», провел зимние каникулы очень неряшливо. Я лучше бы согласился ходить в школу в это время. Когда я пришел в школу, то учителя стали говорить: «Давайте, ребята, занимайтесь с новыми силами». Я за каникулы потерял все силы. Мне некогда было повторять уроки и прогуляться на свежем воздухе. Мне приходилось с 3-х часов утра вставать и ходить за хлебом, а приходил человеком 20-м или 30-м, а хлеб привозили в 9–10 утра. Приходилось мне мерзнуть на улице по 5–6 часов. Хлеба привозили мало. Стоишь, мерзнешь-мерзнешь, да и уйдешь домой ни с чем. Я думаю, что другие ученики провели так же, как и я, каникулы. Если не так, то хуже моего. Судя по этому, можно сказать, что Советская власть несколько не улучшила жизнь крестьянина, наоборот, еще ухудшила. Быть может, мое сочинение не подходит под тему, но в этом я не виноват, так как я ничего не видел, кроме обиды. Я – пионер и школьник и пишу то, что видел и делал. Так провел я каникулы».

Директор средней школы отправил детское сочинение в областное НКВД. А там то ли не поняли, то ли не захотели принимать меры, сунули в общую сводку. Никаких резолюций, ни номеров входящих-исходящих. Ничего, кроме жирной красной единицы. Перепуганная учительница отметилась, прежде чем нести сочинение директору.

Из Особого сектора сводки возвращались в НКВД, шли по лабиринтам инстанций. Где гарантия, что сочинение Алеши Соколова так и останется незамеченным? Нормативы по обязательным цифрам разоблаченных врагов больше не рассылают, но вдруг детские каракули вдохновят какого-нибудь областного молодца продвинуться по службе путем раскрытия подпольной антисоветской организации школьников Рязанской области? Сразу, без усилий молодец все себе повысит: звание, должность, паек, размер жилплощади, уровень распределителя.

Илья вытащил тетрадные странички вместе с сопроводительной запиской директора из папки, сложил и сунул в карман, чтобы потихоньку сжечь их дома в большой пепельнице, так же, как сжег уже десяток незарегистрированных доносов, попавших случайно вместе со сводками к нему на стол.

«Ты, Алеша Соколов, скажи спасибо товарищу Берия, что не навел еще надлежащего порядка в своем ведомстве, а сочинений таких больше ни пиши. Пожалей себя, родителей своих, одноклассников. На этот раз тебе и им повезло».

В дверь постучали, Илья захлопнул открытые папки, убрал в ящик, громко произнес:
– Да-да, войдите.

Из буфета принесли кофе, бутерброды с сыром и черной икрой. Буфетчица Тася поставила на поднос вазочку с шоколадными конфетами.

– Кушайте на здоровье, товарищ Крылов. Конфетки-то вы не заказывали, а я вот принесла.

Илья посмотрел на круглую, румяную физиономию Таси и увидел бледного, продрогшего шестиклассника в ночной очереди где-то под Рязанью. Увидел так отчетливо, что побежали мурашки.

– Холодрюга тут у вас, Илья Петрович, бр-р. – Тася передернула пухлыми плечами. – Может, форточку прикрыть?

– Не нужно, пусть будет воздух.

– Ой, глядите, простудитесь.

– Ничего, я закаленный. Спасибо.

Она вышла, а Илья подумал: «Вот, Алеша Соколов, жру твой хлеб, с маслом, с икрой. Таких конфет ты отродясь не пробовал. Не я у тебя все это отнимаю, но жру отнятое, причем даром. Двенадцать часов в сутки занимаюсь идиотизмом, не могу ничего изменить».

Может, стоило сохранить эти странички для истории? Но заводить домашний архив – безумие, самоубийство. Документов и так горы, на всех папках с расстрельными делами гриф «хранить вечно». А под грифом бредовые признания в шпионаже и вредительстве, выбитые сапогами из животов. Если останутся только эти архивы, будущие историки спят.

«Какие историки? Война – вот ближайшее будущее».

Опять забили куранты. Половина седьмого. В любой момент Хозяин может затребовать сводку по Германии.

Она была готова еще вчера. Перечитав ее, он усмехнулся, поражаясь собственному упорству. Материалы подобраны так, чтобы хоть немного развеять плотные слои эйфории Хозяина.

Никаких разведсообщений из Германии не поступало. В распоряжении Ильи имелись перехваты тайной дипломатической переписки, иностранная пресса. Там о реальных планах Гитлера, разумеется, ни слова.

Для всего мира Россия и Германия выглядели близкими, надежными союзниками. Готовилось очередное хозяйственное соглашение. В секретном отчете торгового советника Шнурре, постоянного участника переговоров, приводились колоссальные цифры советских поставок. Нефть, цветные металлы, золото, платина, зерно, хлопок. Взамен Германия обязалась поставлять промышленные товары, технологии и оборудование.

«Советский Союз выразил готовность быть закупщиком металлов и сырья в третьих странах, – писал Шнурре, – сам Сталин неоднократно обещал в этом вопросе щедрую помощь».

Под «третьими странами» подразумевались те, кто отказывался продавать немцам товары, прежде всего США.

Личная инициатива Хозяина. СССР покупает как бы для себя все, что нужно Германии, доставляет на своих судах в свои порты, а потом по суше отправляет в рейх. Таким образом ломалась британская экономическая блокада, росли международная изоляция СССР, мощь германской армии и уверенность Гитлера, что Сталин его боится.

Соглашение планировали заключить в начале февраля. Илья еле удержался, чтобы не подчеркнуть в сводке красным карандашом замечание Шнурре:

«Советский Союз обещал куда больше, чем это могло быть оправдано с чисто экономической точки зрения. Поставки в Германию наносят ущерб собственному снабжению СССР».

На недавнем политбюро Хозяин объяснял: *«Надо тянуть время, пусть они там хорошенько дубасят друг друга, а мы пока будем укреплять свою армию».*

Но в реальности было все наоборот. Красная армия несла чудовищные потери в Финляндии, а «они там» дубасили друг друга как-то совсем вяло и неохотно. У них там шла странная война.

«Воевать с Британией Гитлер никогда не хотел. Родная раса, благородные англосаксы. – Илья пробегал глазами страницы готовой сводки. – Да и британского энтузиазма не видно. Сейчас на Западе ни то ни се. Англичане с французами точно как большевики в восемнадцатом: ни мира, ни войны, хорошо хоть армии свои не распускают. Сталин надеется, что война на Западе продлится несколько лет, Германия в ней завязнет и ослабнет, и при этом делает все, чтобы усилить военную мощь Германии за счет России».

Последнюю страницу Илья украсил цитатой из очередной триумфальной речи Гитлера: *«В качестве главного фактора наших побед я со всей скромностью должен назвать собственную личность. Я незаменим. Ни одна личность ни из военных, ни из гражданских кругов не смогла бы меня заменить. Я убежден в силе своего разума и в своей решимости. Никто не сделал того, что сделал я».*

* * *

К последнему предновогоднему занятию курсанты подготовили сюрприз. Парты были сдвинуты к задней стене. В образовавшемся пространстве для Карла Рихардовича разыграли несколько сцен из «Крошки Цахеса» Гофмана.

Длинный худющий Гена Дятлов, скрючившись, косолапо коряча ноги, изображал Циннобера. Люба Вареник играла фею и читала куски авторского текста. Владлен был влюбленным студентом Бальтазаром, роль красавицы Кандиды досталась Наташе Гуськовой, хрупкой белокурой тихоне с тонким голоском и всегда сонными серыми глазами. Толик Наседкин играл князя. За музыкальное сопровождение отвечал Витя Нестеренко, невысокий, полноватый, с неистребимым украинским говорком, по успеваемости недалеко обогнавший Толика. Детским ксилофоном и губной гармошкой Витя владел виртуозно.

Инсценировку, конечно, писала Люба. Она же была и режиссером. Каким-то чудом ей удалось вдолбить в голову Наседкина несколько княжеских реплик.

Доктор чуть не упал со стула от хохота, когда Наседкин, напыливая на скрюченного Дятлова блестящую елочную мишуру, пыхтя от усердия, старательно бубнил заученный текст:

– Я должен отличить вас, Циннобер, как подобает по вашим высоким заслугам! Примите из моих рук орден Золотого тигра!

Дятлов прижимал локти к бокам, мелко тряс головой и кулаками, корчил рожи, сердито верещал:

– Зачем вы так несносно тормозите меня? Пусть эта дурацкая штуковина болтается как угодно! Я теперь министр и останусь им навсегда!

В сцене обручения Наташа-Кандида стояла в марлевой фате, Циннобер-Гена сидел рядом с ней на корточках, весь обвитый мишурой. Когда Бальтазар-Владлен подскочил к нему и принялся сдергивать мишуру, Гена заквакал по-лягушачьи, подпрыгнул и стал кувыркаться через голову. Курсанты, изображавшие публику, громко переговаривались:

– Откуда взялся этот маленький кувыркун?

– Что нужно этому маленькому чудовищу?

Чудовище прыгало и визжало:

– Я министр Циннобер! Я золотой тигр с двадцатью пуговицами!

Бальтазар занял место жениха рядом с невестой Кандидой. Князь-Толик, взобравшись на стул, торжественно возложил ладони на их головы. Гена-Циннобер, напрыгавшись, забился в угол, жалобно поскуливал и прятал лицо в колени. Ксилофон и губная гармошка сыграли сначала траурный, потом свадебный марш. Люба, взмахнув указкой – волшебной палочкой, произнесла:

– Внезапно всем показалось, что никакого министра Циннобера никогда не было, а был всего лишь маленький, нескладный, неотесанный уродец, которого ненароком приняли за сведушего, мудрого министра Циннобера.

Карл Рихардович аплодировал стоя. Раскрасневшиеся артисты кланялись. Гена улыбался и разминал затекшие ноги. Потом все хором крикнули:

– С Новым годом!

Витя сыграл фрагмент вальса из «Щелкунчика». Доктор поздравил и поблагодарил каждого. Люба прошептала ему на ухо:

– Я немножко изменила финал. Не хотелось, чтобы Циннобер умер, испортил праздник.

– Ты молодец, Гофман точно не в обиде, – прошептал в ответ доктор.

На улице была благодать, ранние морозные сумерки, крепкий хруст снега под ногами, яркая, глубокая синева неба с малиновым отливом у горизонта.

Школа находилась в городке Балашихе, недалеко от Москвы. Когда-то это место славилось мельницей, поставлявшей муку к царскому двору, древними курганами и суконной фабрикой, которая теперь называлась «Мосшерстьсукно». С конца двадцатых здесь успели построить авиационные и военные заводы. Несколько сел по берегам речек Горенка и Пехорка объединили и назвали городом совсем недавно, в сентябре тридцать девятого. Рядом с заводскими корпусами и рабочими бараками сохранились старинные храмы и совсем близко – лес, поле, плакучие ивы над прудами.

У ворот он увидел красавца капитана и вдруг подумал: «А если спросить его про урановую бомбу? Просто прошупать, они хотя бы знают? Допустим, я в журнале прочитал, и стало интересно. Все-таки открытие мирового масштаба, оружие чудовищной силы... При ИНО есть научно-техническое подразделение, должны отслеживать такие вещи. Он, конечно, ничего определенного не скажет, но по глазам, по реакции пойму».

Капитан стоял и разговаривал с каким-то мужчиной. Одеты они были одинаково. Кожаные черные пальто реглан, подбитые коричневой цигейкой, теплые шапки-финки.

«Надо подождать, когда он останется один», – решил доктор, выстраивая в голове план разговора, и помахал капитану рукой. Тот помахал в ответ, а незнакомый мужчина обернулся и вдруг побежал навстречу.

– Митя? – изумленно прошептал Карл Рихардович, когда между ними осталось несколько метров. – Митя! – повторил он громче и уверенней.

– Так точно, товарищ Штерн, лейтенант Родионов в ваше распоряжение прибыл. – Он остановился, лихо козырнул.

– В какое распоряжение? Митька, что ты несешь? – Доктор засмеялся, обнял и расцеловал его.

Митя Родионов был лучшим из первого выпуска. До ШОН прослужил год в секретно-шифровальном отделе НКВД, взяли его туда с четвертого курса физико-математического факультета Московского университета. Он все схватывал на лету. Цепкая память, наблюдательность, быстрота реакции плюс обаяние и жажда приключений – идеальные качества для будущего разведчика-нелегала. В свои двадцать четыре года он мог бы справиться с самыми сложными заданиями, но только при твердой уверенности, что цель благая. Въедливый, логический ум ничего не принимал на веру. Мите надо было все понять, обдумать, додумать, решить уравнение со множеством неизвестных. Дисциплинарная рутина ШОН угнетала его. Он легко выполнял то, что считал разумным, и лишь чувство юмора помогало мириться с нагромождением идиотских правил и запретов.

За полгода учебы у него сложились приятельские отношения со всеми однокашниками, кроме двух очевидных мерзавцев, случился конфликт с комендантом после первого из регулярных шмонов в прикроватной тумбочке и короткий бурный роман с одной очень красивой курсанткой. Но никто из однокашников, включая героиню романа, не стал для него по-

настоящему близким человеком. Со сверстниками ему было скучновато. Тянуло к старшим, которые знают больше. Он нуждался в умном собеседнике, и если находил такого, то доверял безгранично. В нем жило убеждение, что умный не может быть подлым. В азарте диалогов он терял всякую осторожность. К счастью, высокого звания «умный» удостоились лишь двое. Первым был старейший сотрудник секретно-шифровального отдела Кирилл Петрович Поспелов по прозвищу Кирпетпо. Он преподавал в ШОН. Митя начинал свою службу в НКВД под его руководством и был очень к нему привязан. Вторым стал доктор Штерн по прозвищу Карлуша.

Карл Рихардович знал, что после окончания ШОН Родионова отправили в Берлин, в советское торгпредство. Они не виделись больше трех месяцев. Митя повзрослел, круглые детские щеки втянулись. Долговязый нескладный мальчик, у которого вечно отпарывался подворотничок гимнастерки, болтался ремень, пальцы были в заусенцах и чернильных пятнах, превратился в осанистого холеного щеголя.

– Мне надо произношение поставить. За две недели успеем?

– Нет, конечно, – доктор перешел на немецкий, – в прошлый раз была спешка, теперь опять спешка.

– Обязаны успеть, справимся, – ответил по-немецки Митя, – каждый день будем заниматься, вот прямо сейчас и начнем.

– Митя, у тебя по-прежнему «р» французское, нужно жестче, и гласные гуляют. «А» тянешь по-московски.

– Да, я знаю, я отрабатываю, как вы учили. Давайте на лыжах покатаемся!

– С ума сошел? Какие лыжи? Домой пора, скоро стемнеет, и вообще Новый год. – Доктор вздохнул, заметив, что капитан скрылся за воротами.

– Часа полтора еще будет светло, мы совсем немного, вдоль опушки.

– Кладовщик ушел, дежурный нам ключи ни за что не даст.

– Ну пожалуйста! Я соскучился по лесу нашему, по снегу, по лыжам, до невозможности соскучился.

Митя говорил быстро, вздохнул, и тащил доктора назад, к школе. Щеки и уши пылали, зеленые глаза сверкали из-под заиндеветых ресниц. Он улыбался во весь рот, но сквозь преувеличенную веселость проглядывало жуткое нервное напряжение.

Кладовщик оказался на месте и лишь слегка поворчал, открывая маленькую комнату возле физкультурного зала, где хранилось спортивное снаряжение.

– Ах да, чуть не забыл! – воскликнул Митя, когда они уже переоделись и шнуровали лыжные ботинки.

Он вскочил, бросился к вешалке, по дороге наступил на шнурок и едва не грохнулся. Из внутреннего кармана своего новенького кожаного пальто он извлек небольшой сверток.

– Конечно, глупо, но ничего лучше я не нашел. Все сувениры со свастикой, знаете, там даже на коробках с лезвиями и на зубном порошке свастика, – говорил он, пока доктор разворачивал бумагу.

Это был маленький берлинский плюшевый медведь, темно-коричневый, толстолапый, с умной сердитой мордой.

– Ну, не кружку же пивную вам дарить, не открытки с видами, – продолжал бормотать Митя, – а он вроде симпатичный. Медведь – символ Берлина. У него ошейник был со свастикой, я снял нафиг.

– Что ты оправдываешься? Мог вообще ничего не привозить. – Доктор понюхал игрушку. – Спасибо, вот подарок так подарок, детством моим пахнет...

На лыжах Карл Рихардович катался неплохо. Он часто проводил занятия на природе. С апреля по октябрь устраивал для немецкой группы нечто вроде берлинских пикников в лесу, на берегу маленького чистого пруда. Зимой отправлялся со своими курсантами на лыжные прогулки.

Как только выехали к опушке, Митя остановился, снял варежки, набрал в руки снег и протер лицо.

– Ну вот, теперь можно жить дальше.

– Устал?

– Не то слово. Противно. Лебезим перед ними, откупаемся поставками, а в итоге они на нас нападут.

– Почему ты так думаешь?

– Не думаю. Чувствую. Ненавидят они нас. С улыбочкой, с любезным подходцем, дружба-фройдшафт, но все равно мы для них недочеловеки.

– Для Гитлера все недочеловеки.

– Не-ет, – задумчиво протянул Митя, – британцев он уважает. Строго по теории. Арийцы.

– Но пока он с ними воюет, при всем к ним уважении, ему сотрудничать с нами выгодно, – возразил Карл Рихардович и тут же подумал, как странно из его уст звучит это «они» и «мы».

– Выгодно, – кивнул Митя, – даже слишком. Наглеют с каждым днем, они-то со своими поставками запаздывают, а мы свои увеличиваем, все точненько в срок. Золота семь тонн, это же охренеть, собственными руками, сто ящиков золотых слитков доставил, битте, господи фашисты, кушайте на здоровье. Последним гадом себя чувствую. Действовал согласно приказу, а кажется, будто из родного дома золото это украл и врагу отдал.

Карл Рихардович резко остановился, воткнул палки в снег.

– Все, Митя, ты ничего не говорил, я ничего не слышал. Давай сменим тему.

Ответом был внезапный судорожный детский всхлип. Лейтенант Родионов шмыгал покрасневшим носом. В глазах стояли дрожащие лужицы слез.

Доктор протянул ему платок. Митя шумно высморкался, произнес по-немецки:

– Спасибо. Это от мороза... – он сморщился и заговорил по-русски: – Не могу я больше. Там было тошно, вернулся, а тут... Фуражка в отделе на вешалке висит вторую неделю, никто тронуть не решается.

– Какая фуражка?

– Кирпетпо. – Митя ударил палкой по еловой ветке так сильно, что сбитый снег взвился маленькой вьюгой. – Вызвали к руководству, и все, исчез. Ладно, ежовскую сволоту вычищают, отлично, туда и дорога. Но Кирпетпо при чем? Честнейший человек, специалист бесценный, шифры японские, английские, немецкие как орешки щелкал.

– Позволь, я видел его совсем недавно, – доктор наморщил лоб под шапочкой.

– Когда?

Точно Карл Рихардович вспомнить не мог, но, чтобы успокоить Митю, соврал:

– Дней пять назад, тут, в школе, и в расписании значится его предмет. Так что не выдумывай. Наверное, перевели куда-то, а фуражку он просто забыл на вешалке по рассеянности.

Митя помотал головой.

– Я заходил к нему домой... Не понимаю... Ладно, был заговор в самом главном органе, фашисты-троцкисты. А теперь новый заговор? Или все тот же, только под видом официального договора? Он опять не знает? Молотов подписал, его не спросил?

– Прекрати! – жестко одернул доктор.

Но Митя не услышал, продолжал возбужденно, перескакивая с немецкого на русский:

– Что же получается? Фашистам золото вагонами, зерно, уголь, стратегическое сырье, а своих, лучших, в расход?

– Разберутся и отпустят, – кашлянув, быстро произнес доктор по-немецки.

– В тридцать седьмом так же говорили.

– В тридцать седьмом молчали и тряслись.

– Домолчались. Вступили в мировую войну на стороне Гитлера.

– Что ты несешь? СССР ни с кем не воюет!

В голове вспыхнуло: «Финляндия!» – он поспешно добавил:

– Никаких боевых действий на стороне Гитлера. – Но сразу подумал о Польше и закончил раздраженно: – Все, хватит об этом!

– Не могу! – Митя провел рукой возле горла. – Оно душит меня, надо выговориться, иначе задохнусь, свихнусь. Я не машина, живой человек, с мозгами, с совестью. Подъезжал к Москве, минуты считал. Там все чужое, не знаешь, кто опасней, немцы или свои в торгпредстве. Слово не с кем молвить. А тут вместо Кирпетпо – фуражка... Только вы остались, больше никого. Мама пуганая-перепуганая, сердце у нее, чуть занервничает, сразу приступ. Я ей даже про Кирпетпо сказать не решился.

– Ну и правильно, – кивнул доктор, – вот увидишь, выпустят.

– Вряд ли. Про Хирурга знаете?

– Что именно? – спросил доктор и вспомнил мрачное лицо красавца капитана.

– То самое. – Митя зло оскалился. – Уволили из органов, из партии собираются исключать. В школе пока оставили.

«Хорош бы я был, подкатив к товарищу капитану с урановым разговором», – подумал доктор, загнул край варежки, взглянул на часы.

– Митя, пора. Надо еще переодеться. Теперь помолчи, послушай. С такими мыслями и чувствами ты работать не сможешь. Да, ты человек, не машина, и у тебя есть мозги, чтобы думать. Союз с Гитлером – вынужденная мера, единственный способ выиграть время. Из курицы, несущей золотые яйца, бульон варить невыгодно. Может, золото, которое ты туда привез, отсрочит нападение и спасет тысячи жизней?

– Нет, – Митя упрямо помотал головой, – не спасет, погубит, потому что будет потрачено на танки и самолеты, которые вдарят по нам.

– Вдарят, – кивнул доктор, – и довольно скоро. Поэтому хватит ныть, соберись. Исстрадался: золото вагонами, уголь, стратегическое сырье... Вон англичане и французы Гитлеру уже пол-Европы подарили, и ничего, совесть не мучает. Политики всего лишь люди. Глупые, лживые, жестокие. Разные. Но уж точно не лучшие из людей. Среди них умных мало, честных еще меньше, добрых вообще нет. Попробуй сменить угол зрения, взгляни на это здраво, без детских иллюзий, без презумпции идеальности. Человек у власти и страна, которой он руководит, – не одно и то же. Просто делай, что можешь, для своей страны, а не для... в общем, ты меня понял.

Стемнело. Они подъехали к воротам, из будки вылез охранник. В ярком фонарном свете доктор поймал изумленный взгляд Мити, брови под шапочкой напряженно сдвинулись.

– Презумпция идеальности, – повторил он, – а ведь правда... Почему мне это никогда в голову не приходило?

Глава пятая

Весь сентябрь 1939 года Ося мотался по Европе и в своих репортажах убедительно доказывал, что никакой войны нет. Его шеф Чиано, министр иностранных дел Италии и зять Муссолини, четко сформулировал задачу и выдал стержневой тезис: германская армия улаживает локальный конфликт.

Слово «война» не употреблялось. Немецкая сторона заменила его выражением «борьба за мир в Европе». Советская – «защитой братских народов», без уточнения от кого. Итальянская пресса факт нападения Гитлера на Польшу называла «выполнением миротворческой миссии».

Муссолини был обязан выступить на стороне Гитлера. Дуче смертельно боялся, что Англия и Франция ударят по нему, как по союзнику Германии, призывал к перемирию, предлагал собрать конференцию и всячески подчеркивал свой нейтралитет. Настроение его менялось каждую минуту. То он кричал, что надо порвать с Гитлером, то надувал щеки и заявлял, что ему судьбой предназначено идти с фюрером до конца.

В последние дни августа Чиано подсказал ему хитрый ход – передать немцам список того, что нужно итальянской армии для участия в боевых действиях. Тысячи тонн угля, нефти, стали, сотни самолетов и танков. Требования были очевидно невыполнимы и означали отказ от союзнических обязательств. Фюрер великодушно простил своего робкого друга и заверил в официальной ноте, что Германия справится собственными силами. Телеграмму фюрера дуче лично зачитал по радио, чтобы успокоить итальянцев, которые совершенно не хотели воевать и уже начали тихо ненавидеть немцев.

Конечно, Германия справилась. Фюрер легко обошелся без римских легионов, вооруженных ружьями образца 1891 года, способных сражаться лишь с босоногими эфиопами и албанцами. От Муссолини требовалась только моральная поддержка. Но и это оказалось для дуче слишком тяжким испытанием. Повторять нацистскую пропаганду, будто поляки напали первыми, он не мог, не хотел раздражать англичан и французов. Они и так были раздражены, настолько сильно, что 3 сентября объявили Германии войну.

В Лондоне копали траншеи. Из США в Британию поступали партии детских противогазов в виде Микки-Мауса. Во Франции шла мобилизация, новобранцы бегали по лужайкам и кололи штыками соломенные чучела. Британские парламентарии обращались к военным: *«Почему мы не бомбим Германию?»* Министр авиации отвечал: *«Потому что германские стратегические объекты – частная собственность, мы обязаны уважать частную собственность»*.

Джованни Касолли в своих репортажах не врал. Войны действительно не было. Она существовала лишь на бумаге, в официальных нотах правительств Англии и Франции. То, что происходило в реальности, то, что он видел своими глазами в Польше, называлось как-то иначе. Он не мог подобрать точного определения. В голове крутились слова: подлость, трусость, тупость, ужас, безумие. Подлость англичан. Трусость французов. Тупость и тех и других. Ужас поляков и всеобщее безумие.

1 сентября, в четыре утра, без предупреждения, без объявления войны, первая бомба люфтваффе упала на городскую больницу польского городка Велюнь в двадцати километрах от немецкой границы. Велюнь, старинный, тихий, с костелами, монастырями и мирно спящими жителями, не имел никакого стратегического значения. Его разбомбили, чтобы посеять ужас.

Поляки не успели мобилизовать свою армию. В небе ревели истребители и бомбардировщики люфтваффе. По земле со скоростью тридцать миль в день катилось чудовище, гигантский сплав смертоносного железа и людей, убежденных в своем биологическом праве убивать. Польские кавалерийские бригады с пиками наперевес неслись под гусеницы немецких танковых

дивизий. Дымились развалины городов, торчали печные трубы сгоревших деревень, повсюду лежали трупы солдат, женщин, детей, лошадей. Погорельцы копошились у пепелищ, искали уцелевшие пожитки, беженцы шли на восток. Но еще оставалась надежда. Польская армия продолжала сражаться. Впервые после бескровных триумфов в Рейнской зоне, в Австрии и Чехословакии, вермахт встретил сопротивление и нес потери. Ни один польский город не сдавался без боя.

Окруженная, зажата в клещи Варшава держалась. Информационные агентства рейха твердили, что Варшава пала, а варшавское радио продолжало играть государственный гимн Польши. Надеяться было не на что, но надежда еще жила. Она угасла в шесть утра 17 сентября, когда с востока в Польшу вошла Красная армия. Через двенадцать часов несколько уцелевших членов польского правительства покинули страну через румынскую границу.

22 сентября Ося стоял в небольшой группе журналистов на центральной улице польского города Брест-Литовска и снимал на свою «Аймо» совместный парад девятнадцатого моторного корпуса вермахта и двадцать девятой отдельной танковой бригады Красной армии.

Сводный военный оркестр играл нацистские и советские марши. В объектив попало рукопожатие генерала Гудериана и комбрига Кривошеина. Они принимали парад, стоя на импровизированном постаменте, сколоченном из досок, вроде низкого стола с толстыми ножками. Они улыбались друг другу и говорили по-французски.

– У этого русского гитлеровские усики, – ехидно заметила корреспондентка «Нью-Йорк таймс» Кейт Баррон.

– Этот русский – еврей, – интимным шепотом сообщил пожилой толстяк в зеленой шляпе.

– Откуда вы знаете? – удивился Ося.

– Я хороший физиономист, – ответил толстяк и кивнул на Кейт: – Молодая леди полукровка, среди американцев таких все больше. Рене Тибо, радио Брюсселя.

Ося представился и пожал протянутую пухлую кисть.

Оркестр играл громко, но Кейт расслышала слова бельгийца, смерила его надменным взглядом.

– При такой озабоченности еврейским вопросом почему вы стоите здесь, а не шагаете там? – она кивнула на немецкую колонну.

– Я бы не прочь, но, к сожалению, возраст и комплекция не позволяют.

– Скажите, вы только прикидываетесь мерзавцем или в самом деле сочувствуете нацистам? – язвительно спросила Кейт.

– Сочувствуют побежденным. – Тибо ухмыльнулся. – А победителям завидуют. Вот они, победители. Смотрите, какая выправка, какие гордые сильные лица.

– А по-моему, тупые самодовольные рожи, – возразила Кейт.

– Чем вас не устраивают немцы? Они всего лишь захватывают колонии, так же, как это делали испанцы, британцы, французы. Почему другим можно, а им нельзя? К полякам они относятся ничуть не хуже, чем ваши соотечественники к неграм. – Тибо весело подмигнул. – Расовая теория.

– Да, но поляки белые! – выпалила Кейт.

Тибо хлопнул в ладоши и тихо рассмеялся:

– Вот она, истинная демократия! Браво, детка!

– Я вам не детка, – огрызнулась Кейт.

Ося стоял между американкой и бельгийцем. В «Аймо» закончилась пленка, запасные катушки остались в гостинице, но все самое интересное было уже отснято. Он просто смотрел на марширующие колонны и слушал чужую болтовню.

Американка и бельгиец были знакомы. Кейт Баррон вообще знала всех на свете. Ося часто встречал ее в разных европейских городах на брифингах и пресс-конференциях. Бель-

гийца он впервые увидел утром в холле гостиницы. Пожилой толстяк резко выделялся в международной группе репортеров, молодых, поджарых, бодрых. По-английски он говорил с мягким французским акцентом.

– Победители, – Тибо покачал головой. – Завтра таким же красивым маршем они пройдут по Амстердаму, Копенгагену, Осло, по моему маленькому тихому Брюсселю, по Парижу...

– Париж немцы не возьмут. – Кейт фыркнула. – У Франции сильная армия, Британия, наконец, проснется.

– И мирным американцам не придется проливать кровь на чужом континенте, – пробормотал бельгиец.

Еще одна хорошая шпилька. Кейт Баррон бравировала своей левизной только в разговорах с коллегами. Ее статьи и репортажи строго соответствовали умеренно-изоляционистской линии правительства США.

– Завтрашние парады будут тоже совместными, как этот? – спросил Ося.

– Что за глупости? Никаких завтрашних парадов не будет, тем более совместных! Этот противоестественный союз – хитрый политический маневр, Сталину нужно время, чтобы укрепить свою армию.

– Которую он сам же и разгромил, – ласково промурлыкал Тибо и подмигнул Осе. – Джованни, эта очаровательная леди удивляется, почему я не марширую в нацистской колонне, а я недоумеваю, почему она до сих пор не эмигрировала из капиталистической Америки в сталинский рай.

Кейт его уже не слушала. Парад заканчивался. Увидев, как Гудериан и Кривошеин слезают со своего постаментов, она кинулась к ним, громко крича по-французски:

– Господа, прошу вас, несколько слов для читателей «Нью-Йорк таймс»!

Через мгновение ее стриженная рыжая голова исчезла в толпе журналистов, обступившей генерала вермахта и комбрига Красной армии.

– Джованни, что же вы не бежите брать интервью? – спросил Тибо.

– Нет смысла. Все важные вопросы задаст мисс Баррон.

– И сама же на них ответит. – Тибо хмыкнул. – Предлагаю вернуться в гостиницу, пора перекусить.

Старинному Брест-Литовску повезло, его не разбомбили, он почти уцелел, улицы выглядели мирно и даже нарядно. Открылись магазины. Лица людей казались спокойными, многие улыбались – радовались передышке. Вряд ли им хотелось думать, долго ли она продлится, что будет завтра. Они устали бояться и ждать худшего.

Напротив мясной лавки застыли два красноармейца, смотрели, как загнипнотизированные, сквозь стекло витрины на окорока и колбасы. Проходя мимо них, Ося услышал:

– От живут, буржуи, мать их, жрачки завались, и никаких очередей.

– Вы поняли, что он сказал? – спросил Тибо, блеснув сощуренным глазом на Осю.

– Хотел бы, но, к сожалению, не знаю русского.

Возле открытой витрины с фруктами стояли еще трое.

– Это у вас все только для буржуев, – объяснял продавщице тот, что постарше, – вот у нас в СССР апельсины-мандарины любому рабочему человеку доступны. У нас все фрукты на заводах делают, сколько хочешь.

Продавщица улыбалась и протягивала красноармейцам тарелку с аккуратно разложенными дольками апельсина.

На углу торговой улицы стоял советский танк. Танкисты по очереди вылезали из люка, прыгали на мостовую, ошалело озирались. Рядом остановились две девушки, одна вручила танкисту белую хризантему.

– Они не понимают, им кажется, что Красная армия пришла освободить их от немцев, – заметил Тибо.

– После предательства англичан и французов что же им остается, кроме этой последней иллюзии?

– Все-таки предательство не совсем подходящее слово, – мягко возразил Тибо, – никто не ожидал, что все закончится так быстро и что Сталин окончательно добьет их ударом в спину. Они бежали от немцев на восток, теперь им бежать некуда.

На газетном лотке лежали свежие номера «Правды» и «Фолькишер беобехтер». Тибо остановился, прочитал вслух по-немецки жирный текст на первой полосе «Фолькишер» под портретом Гитлера:

– *«Правительства Германии и России совместными усилиями урегулируют проблемы, возникшие в результате распада Польского государства, и закладывают прочную основу для длительного мира в Восточной Европе».*

Короткая прогулка по городу явно утомила толстяка, он говорил сквозь одышку, из-под мягких полей зеленой шляпы текли струйки пота. Тибо на ходу вытирал платком пухлое красное лицо и старался не отставать от своего молодого спутника. Ося привык ходить очень быстро, но спохватился, замедлил шаг и сказал:

– Сегодня утром варшавское радио опять играло гимн.

– Да, это похоже на чудо, но уже ничего не значит. Сегодня Польша перестала существовать.

– Капитуляция еще не подписана.

– Просто уже некому подписывать... Ужасная, ужасная судьба. Почти полтора века Польша принадлежала России, Австрии, Пруссии, и всего-то двадцать лет удалось ей пожить как независимому государству. Господи, благодарю Тебя, что я не поляк.

Ося искоса взглянул на Тибо. Точно такая же фраза вспыхнула у него в голове сегодня утром, когда он поймал в приемнике в гостиничном номере варшавское радио и услышал государственный гимн Польши. Звуки лились словно с того света. Больно было слушать, и он подумал: «Господи, благодарю Тебя, что я не поляк!»

– Ну, кто следующий? – спросил Тибо, когда сели за столик в гостиничном ресторане. – Россия или Англия?

– Россия – союзник Германии.

– Вы не считаете этот союз временным?

– Все союзы временные, но они разрываются после войны, а не в начале. С таким же успехом можно гадать, нападет ли Гитлер на Италию.

– Ну, это совсем другое дело, союз с Муссолини крепко спаян идеологией.

– Идеология нужна, чтобы начать войну, а для ее продолжения нужны металл, топливо, хлеб и надежный тыл. Все это дает Гитлеру Сталин. Зачем нападать на такого выгодного союзника, когда есть реальные противники?

– Но они не воюют, – заметил Тибо и помахал рукой, разгоняя дым Осиной сигареты.

– Потому что он напал не на них. Когда нападет на них, им придется сопротивляться.

– Поляки тоже сопротивлялись...

К столу подошел официант, Тибо уставился в меню, пробормотал, потирая переносицу:

– Что будем пить?

– Кофе, – сказал Ося, – от спиртного я сразу усну, не спал двое суток.

– Ну, как хотите. А я предпочитаю чай. Спиртного мне вообще нельзя, и кофе тоже. Гипертония, знаете ли, сердце слабое... Итак, Англия?

– Вероятно, – Ося пожал плечами, – Впрочем, к Па-де-Кале можно подойти только через Францию.

– А как же Мажино?

– Она не достроена, и там есть кусочек...

– Кусочек называется Бельгия, – Тибо кисло усмехнулся, – французы не хотели нас обидеть, отгородились своей Мажино от Германии, а границу с нами оставили открытой. Вот вам и ответ на вопрос: «Кто следующий?» Благодарить Бога, что я не бельгиец, не приходится, ибо я бельгиец.

В зал влетела запыхавшаяся, разгоряченная Кейт, огляделась и направилась к их столику.

– Конечно, это временный союз! – выпалила она, не успев сесть. – Русские так смущаются, этот танковый командир... черт, не могу произнести фамилию... Кривчеин или Кривачин. Он отлично владеет французским, но в ответ на вопросы мямлил, словно подросток. Ему явно неловко в этой нацистской компании. А, вот и официант. Сейчас умру от голода.

– Он мямлил потому, что каждое лишнее слово, сказанное иностранцу, может стоить ему головы, – снисходительно объяснил Тибо, после того как она сделала заказ и официант удалился.

– Опять вы несете чушь! – Кейт шлепнула пальцами по скатерти. – Вам не нравится Сталин? Ну, скажите, чем его союз с Гитлером отличается от той гнусности, которую устроили в Мюнхене Чемберлен и Деладье в прошлом году?

– Детка, английские и французские солдаты не маршировали вместе с войсками Гитлера по Праге, – ласково объяснил Тибо. – Чемберлен и Деладье откупились чужой страной. Но они не делили эту страну с Гитлером. Они не стали союзниками Гитлера, наоборот, объявили ему войну. Попустительство преступнику и соучастие в преступлении – разные вещи.

– Объявили войну, обещали помочь Польше, но пальцем не шевельнули. Вместо бомб разбрасывают с самолетов дурацкие листовки, в которых объясняют немцам, что война – это плохо! И будьте любезны, не называйте меня деткой!

– Да, детка, – смиренно кивнул Тибо, – ваш любимый Сталин войны никому не объявлял, но пальцем шевельнул.

Официант принес напитки и закуски. Кейт загасила сигарету, схватила с подноса стакан воды, выпила залпом и произнесла:

– Эти территории раньше принадлежали России. Сталин восстанавливает прежние границы.

– Гитлер тоже начал с этого.

– Тут живут не только поляки, тут много украинцев, белорусов, евреев.

– В Америке много немцев. Как вам понравится парад вермахта у Капитолия? Украинцев, русских, евреев там тоже немало. Почему бы не быть совместному параду? Итальянцев полно. – Тибо повернулся к Осе. – Джованни, почему синьор Муссолини не заявляет о своих правах на кусок северо-американского континента?

– Обязательно спрошу его при встрече, – кивнул Ося.

Кейт вдруг потеряла всякий интерес к разговору, озираясь по сторонам, энергично махала кому-то.

– Пожалуйста, отнесите мой заказ во-он туда, – сказала она подоспевшему официанту и, сухо извинившись, упорхнула.

– Джованни, вы слишком печальны и молчаливы для итальянца, – тихо прошептал Тибо, когда они остались вдвоем, – прозвище Феличита вам совершенно не подходит.

С набитым ртом Ося не мог ответить сразу. Пока он жевал, Тибо смотрел на него и улыбался.

– Не спешите, а то поперхнетесь.

– Мг-м. – Ося глотнул воды, закурил и медленно произнес отзыв на пароль: – В детстве я был веселей и болтал без умолку.

– Да, «Сестра» рассказывала, – кивнул Тибо, – она передает вам привет.

Ося заулыбался так радостно, словно речь шла о реальной родной любимой сестричке, по которой он ужасно соскучился. На самом деле «Сестрой» называли SIS (Secret Intelligence Service), секретную разведку Великобритании.

Двенадцать лет назад глава SIS адмирал Хью Синклер через свои вашингтонские связи поменял нансеновский паспорт³ молодого журналиста Иосифа Каца на американский. Новоиспеченный гражданин США итальянского происхождения Джованни Касолли стал активно сотрудничать с итальянскими газетами. Когда в США разразился экономический кризис, Касолли решил переехать в Италию. «Сестра» благословила его кодовой кличкой Феличита и организовала его знакомство с министром иностранных дел Чиано.

Молодой обаятельный журналист владел немецким и французским так же свободно, как итальянским и английским, писал хлесткие остроумные статьи, умел разговаривать и рассмешить кого угодно, великолепно играл в теннис и футбол. Чиано такие нравились, он взял Касолли в свою свиту.

* * *

Эмма открыла калитку и увидела в сумерках силуэт старика. Он ходил вокруг дома, от качелей до осины, выросшей на месте сгоревшего сарая, от осины до дальнего угла забора. Это называлось прогулкой. Он шел довольно быстро, подавшись корпусом вперед, заложив руки за спину. На ногах все те же войлочные сапоги, на голове – красноармейский шлем.

Эмма подумала: «Хорошо, что уже темно и соседи не могут заметить звезду на шлеме».

Впрочем, звезда давно выцвела, наполовину отпоролась и висела бесформенным розоватым лоскутком.

Машинально отметив про себя, что задвижку и петли калитки пора смазать, Эмма направилась к крыльцу, чтобы положить тяжелые сумки и взять из прихожей шарф. Вернер, как всегда, забыл его надеть, только куртку накинул, а вечер был очень холодный.

Новая горничная, полька, открыла дверь, взяла сумки. Эмма приветливо поздоровалась с ней и четко, без ошибок произнесла непривычное славянское имя Агнешка.

В доме было чисто и тепло. Напрасно говорят, будто бесплатная польская прислуга годится только для сельской местности. Считается, что славянские девушки ленивы, неопрятны и бестолковы. Вот уж неправда. Если с ними хорошо обращаться, они тоже работают на совесть. Во всяком случае, эта Агнешка очень удачный вариант. Она тут всего неделю, а дом преобразился, в углах ни пылинки, белье и одежда Вернера в полном порядке.

Агнешка, в отличие от прошлой прислуги, не забывала класть в ящики комода мешочки с лавандой, и мошь, наконец, исчезла. Столовое серебро сверкало. Она даже окна помыла, чего ни одна немецкая горничная не стала бы делать зимой. Но главное, эта полька не вызывала у Вернера ни малейшего раздражения. Она знала не больше десятка немецких слов и все время молчала.

Эмма четко и медленно объяснила Агнешке, что надо выпотрошить форель, промыть шпинат и почистить картофель. Полька поняла, принялась за работу. Эмма вышла на крыльцо, прихватив шарф для Вернера.

Почти стемнело. Вернер стоял у осины, обхватил ладонями тонкий кривой ствол и прижимался к нему щекой. Объяты с деревом означали, что прогулка закончена, стало быть, шарф уже не нужен. Да и не стоило трогать старика в эти минуты. Если окликнуть, он сильно вздрогнет и потом весь вечер будет мрачным и злым, откажется от ужина, поднимется в мансарду, и никакая сила не заставит его спуститься в столовую.

³ Нансеновский паспорт – международный документ, который Лига Наций выдавала беженцам без гражданства, в основном из России.

Сарай сгорел десять лет назад, через пару месяцев после того, как в нем устроили лабораторию. Там было много горючих веществ. Пожарные приехали достаточно быстро, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания, но слишком поздно, чтобы спасти Марту.

Марта помогала мужу в его опытах, проводила в лаборатории многие часы. Когда случился пожар, Вернер был в Кембридже у Резерфорда. Обычно Марта ездила вместе с ним, а в тот раз приболела и осталась в Берлине. Но простуда не помешала ей отправиться ночью в лабораторию. Там плохо работала электропроводка, то и дело выбивало пробки, в темноте приходилось зажигать свечи и керосинку.

Пожарные так и не сумели определить точную причину возгорания. В нескольких метрах от пожарища нашли массивный фанерный ящик, внутри стружка, закопченные металлические детали, зеркальные осколки, треснутые стеклянные трубки. Рядом валялись три толстые тетради. Судя по всему, Марта дважды выходила из пылающей лаборатории, выносила самое ценное и возвращалась назад. В третий раз ей не удалось выбраться. Приборы Вернер потом восстановил, а записи пропали. Вода из пожарных шлангов размывала чернила.

Герман страшно переживал гибель матери. Несколько суток пролежал на диване, отвернувшись к стене, тряся от рыданий. Отправлять телеграмму в Кембридж и встречать Вернера пришлось Эмме.

Ее тогда поразило его спокойствие. Ни слезинки, ни слова. Вещи Марты он отдал в какой-то приют. В доме не осталось ни одной ее фотографии. А Герман развешивал их повсюду. Многочисленные изображения Марты украшали каждое их жилище. Маленькая девочка с плюшевым медведем. Большая девочка в гамаке с книгой. Девочка-подросток на лужайке с теннисной ракеткой. Юная девушка у открытого фортепиано. Девушка постарше в свадебном платье (полтора года назад Герман аккуратно отсек фигуру отца бритвенным лезвием, по линейке). Молодая женщина в парке с коляской и с младенцем Германом на руках. Женщина средних лет в кресле у камина, с кошкой на коленях.

Вернер хранил тетради со сморщенными хрупкими страницами в чернильных разводах, серебряную шкатулку с украшениями и маленький граненый флакон. На доннышке осталось немного духов, но запах выдохся. На месте сгоревшего сарая за десять лет так ничего и не выросло, кроме кривой осины.

Видеть Вернера возле одинокого дерева было грустно, сердце сжималось. Эмма не стала его окликать, вздохнула и вернулась в дом.

Горничная нарезала лук. Эмма остановилась в дверном проеме кухни, минуту молча за ней наблюдала. Кольца получались тонкие и ровные, глаза польки не краснели и не слезились, она то и дело смачивала нож в холодной воде.

«Удивительно, – подумала Эмма, – оказывается, им тоже знакомы эти маленькие кухонные хитрости».

Полька почувствовала взгляд, резко обернулась, выронила нож, наклонилась, чтобы поднять. Эмма заметила в кармашке ее блузки свернутые купюры. Сразу стало тревожно и противно.

«Вот тебе и удачный вариант... Вернер такой рассеянный, совершенно беззащитный... Мерзавка... Как же быть? Обыскать ее каморку? Позвонить в полицию?»

– Что это у вас? – спросила она, указывая пальцем на кармашек.

Девушка покраснела, дрожащей рукой вытащила две пятерки и залопотала что-то невнятное.

– Откуда у вас деньги? – медленно, по слогам, произнесла Эмма. – Вы разве не знаете, что красть нельзя?

В испуганном лепете польки звучали отдельные немецкие слова, Эмма поняла только «нет, я не...». Девушка протягивала ей купюры и мотала головой.

Стукнула дверь. В прихожей послышались шаги.

- Вернер! – громко позвала Эмма.
- А, привет, дорогуша, не видел, как ты пришла. – Он чмокнул ее в щеку.
- Вернер, у нас проблема, – жестко отчеканила Эмма, – она оказалась воровкой.
- Что за ерунда? – старик нахмурился.
- К сожалению, это не ерунда. – Эмма кивнула на купюры в дрожащей руке польки.
- Ну, вижу, да, десять марок. Ее жалованье за неделю. Я решил платить ей на две марки больше, чем прошлой дуре.
- Платить ей? Зачем? Господи, ну я же вам столько раз объясняла: польская прислуга работает бесплатно.
- Старик ничего не ответил, словно не услышал, и обратился к девушке:
- Все в порядке, милая, не волнуйтесь, спрячьте деньги, они ваши, – он жестом показал, что купюры нужно убрать назад, в карман.
- Благодарю, господин, – чуть слышно прошептала полька.
- Вернер покосился на Эмму и тихо спросил:
- Дорогуша, ты не хочешь извиниться?
- Эмма почувствовала, как кровь прилила к лицу. Прежде чем она успела что-либо сообщить, у нее вырвалось:
- Простите, Агнешка, я ошиблась.
- Умница. – Старик взял ее под руку, ободряюще сжал локоть, увел в гостиную, уселся на диван и закурил.
- Эмма тоже взяла сигарету.
- Ты же не куришь, – ехидно заметил Вернер и щелкнул зажигалкой, – что, так сильно разволновалась?
- Не то слово, – Эмма закашлялась, – ужасная гадость.
- Да, неприятно получилось.
- Я о табачном дыме. – Эмма затушила сигарету. – Вернер, все-таки это неправильно – платить польке, да еще такую сумму.
- Платить польке, – со вздохом повторил старик. – А тебе не приходит в голову, что на ее месте могла бы оказаться Мари Кюри?
- Кто?! – Эмма даже привстала от удивления.
- Мари была полька, ее девичья фамилия Складовская. Случись наша национальная катастрофа лет пятьдесят назад...
- Эмма знала, что «национальной катастрофой» старик называет приход к власти нацистской партии. От подобных разговоров ее знобило, она попыталась сменить тему.
- Десять марок в неделю, получается больше сорока в месяц. Зачем ей столько? Языка не знает, в приличных магазинах восточных рабочих не обслуживают, разве только в продуктовой лавке. А если, допустим, на улице ее задержит полиция и найдет у нее большую сумму? Ведь за это...
- М-м. – Старик растянул губы в лягушачьей улыбке. – Я предупредил ее, чтобы не таскала с собой деньги, только мелочь. Да она и сама понимает.
- Тем более глупость! Ну зачем ей столько?
- Не век же ей тут торчать. – Старик усмехнулся. – Вернется домой не с пустыми руками. Если, конечно, германская марка к тому времени будет что-нибудь стоить. Эй, дорогуша, о чем мы говорим? Ты разве не знаешь, что красть нельзя?
- Эмма вздрогнула. Он не мог слышать фразу, которую она сказала польке, он вошел позже. Но повторил слово в слово.
- Что вы имеете в виду? – спросила она обиженно.
- Ты отлично меня поняла, не прикидывайся.

– Да, но ведь все пользуются. Восточные рабочие повсюду, на заводах, на фермах... – Эмма запнулась и почувствовала, как забегали у нее глаза.

– Вот именно, – кивнул Вернер, – все воруют чужой труд. А я не буду, и тебе не советую. Хотя куда ты денешься? Ты и твой муж, мой бывший сын. Работа небось кипит? Реактор уже строят?

– Вот этим поляки точно не занимаются, – выпалила Эмма и прикусила язык.

Она была уверена, что старик сейчас спросит, кто же, если не восточные рабочие, добывает уран, однако ошиблась.

– Вы уже удостоились личного благословения нейтрона? – с хитрой усмешкой спросил Вернер.

Вопрос, хоть и звучал странно, показался Эмме вполне безобидным. Он касался исключительно науки. Старика интересовало, как продвигаются опыты, удалось ли получить свободные нейтроны и просчитать цепную реакцию. Сейчас Эмма занималась именно этим и с удовольствием бы поделилась своими успехами с Вернером. Конечно, секретность, подписка и все такое... Впрочем, она опять ошиблась.

– Он ведь, нейтрон этот ваш, с усиками. – Старик весело подмигнул. – Все люди – заряженные частицы со знаками плюс или минус, а он никто, ничто, собственного заряда не имеет, возник в результате распада ядра, неуловим, не поддается никакому воздействию, обладает колоссальной проникающей способностью. Чедвик открыл нейтрон в тридцать втором, и сразу нейтрон выпрыгнул, воплотился. Интересная аналогия, ты не находишь? На самом деле их два. Второй тоже выпрыгнул в результате распада, тоже никто, ничто и тоже с усами. Больше одного нейтрона – вот тебе цепная реакция. Точная дата ее начала – первое сентября тысяча девятьсот тридцать девятого. Ну, дорогуша, ты возьмешься просчитать результат?

«Ладно, – спокойно подумала Эмма, – пусть болтает, ничего страшного, к тому же слишком путано...»

Зашла горничная, произнесла одно слово: «Битте» – и показала знаками, что стол уже накрыт.

– Ой, я хотела сама приготовить, – всполошилась Эмма.

– Отдыхай, дорогуша. Ты уж не обижайся, но стряпает она лучше, чем ты. Пойдем, сейчас сама убедишься.

– Спасибо на добром слове.

Стол накрыт был правильно, не придерешься. Эмма разложила салфетку на коленях, взяла бокал, щурясь, полюбовалась игрой хрусталя.

– Ваше здоровье, Вернер.

– Мг-м. – Он пригубил, кивнул. – Вкусно.

– Еще бы, – улыбнулась Эмма, – настоящее рейнское, мягкое и совсем не кислое.

– Что же ты, дорогуша, принесла такую прелесть сюда? Выпила бы дома, с мужем.

– У Германа от белого сухого изжога.

– Изжога у него от вранья. – Старик бросил в рот маслину и спросил с деланным равнодушием: – Небось по-прежнему твердит, будто это я убил Марту?

Эмма заерзала на стуле. Меньше всего ей хотелось сейчас говорить на эту тему. Болевая точка, корень конфликта. Нет, конечно, в убийстве Герман отца не обвинял, это было бы слишком нелепо. Он говорил о косвенной вине. Будто бы отец вынудил маму работать в лаборатории. Она его любила, ни в чем отказать ему не могла, а он никогда никого не любил, использовал ее любовь в корыстных целях.

Между прочим, слово «любовь» впервые возникло в лексиконе Германа именно в момент разрыва с отцом. Прежде Эмма от него этого слова не слышала ни в романтические времена, до свадьбы, ни в моменты близости. Предложение он ей сделал коротко и сухо: «Давай-ка, выходи за меня». Конечно, ей не хватало нежности, признаний, но она внушила себе, что Гер-

ман избегает говорить о любви из-за особенного, суеверно-трепетного отношения к этому чувству, и страшно удивилась, когда заветное слово вдруг сорвалось с его уст и бешено запрыгало по фразам, наполненным ненавистью.

Это была последняя встреча отца и сына. Полтора года назад они сидели втроем тут, в столовой, и Герман кричал о том, как беззаветно мама любила отца. Кричал он вроде бы негромко, но голос его заполнял пространство, энергия ненависти превращалась в материю, в плотную вязкую массу, в которой невозможно дышать и двигаться.

– Мало тебе званий, мало медали Планка? – орал Герман. – Хочешь Нобелевскую?

– Конечно, хочу, – кивнул Вернер со спокойной улыбкой, – и ты хочешь, но только ни одному немцу она теперь не светит.

– Чушь! – прошипел Герман.

Старик молча пожал плечами.

Эмма знала, что это вовсе не чушь. В тридцать пятом, после того, как Нобелевский комитет присудил премию за мир писателю Карлу Осецкому, который сидел в лагере за свои антинацистские убеждения, фюрер запретил всем немцам принимать Нобелевские премии. В институте по этому поводу шептались: а что, если следующий приказ вынудит всех нобелевских лауреатов отказаться от премий, полученных до тридцать пятого? Как поступят Планк и Гейзенберг?

Герман продолжал орать:

– Ты помешался на своих излучениях, ради них пожертвовал репутацией, кафедрой, уважением коллег, маминой жизнью, моей карьерой! Никогда ты ее не любил, и меня тоже! Считаешь себя великим ученым? Когда-то ты правда был ученым. А теперь превратился в шарлатана. Ты шарлатан! Мама погибла ради твоего шарлатанства! А тебе наплевать! Мы для тебя только средство, расходный материал!

Вернер больше не произнес ни слова, молча встал и затопал наверх, в мансарду. А Герман как будто не заметил этого, продолжал орать. Эмме пришлось несколько раз повторить:

– Замолчи, он ушел.

Сразу после трагедии подобная истерика могла быть вполне понятна, оправдана шоком, болью. Но прошло много лет. До этой минуты Герман вел себя как примерный, любящий сын.

Прежде чем уйти, Эмма поднялась к Вернеру, сказала: «Простите его, он сам не знает, что мелет, просто нервный срыв». Старик покосился на нее, пробормотал: «Мг-м, конечно, дорогуша, я понимаю», и продолжил как ни в чем не бывало писать что-то в своей тетради.

Потом еще долго вертелся у Эммы на языке вопрос: «За что ты так ненавидишь отца?» Но ужасно не хотелось возвращаться в тяжелую атмосферу конфликта, вопрос приходилось проглатывать, а чтобы не застревал в горле, Эмма растворяла его в жидкой субстанции оправданий мужниной истерикой, пыталась убедить себя, что старик сам во многом виноват. Был слишком строгим и требовательным отцом, постоянно шпынял Германа в детстве, в юности и всегда поступал так, как ему хотелось, не думая о других.

Конечно, обвинения в том, что он пожертвовал ради своих опытов жизнью Марты и карьерой Германа, – это чересчур. Марта погибла из-за несчастного случая, а на карьере Германа уход отца из института никак не отразился, но его вызывающее поведение было неприятно. Эти язвительные реплики и вот, сегодняшний гадкий эпизод с полькой...

Эмма представила, как отреагировал бы Герман, и невольно поморщилась.

– Ты чего, дорогуша? Молчишь, рожицы корчишь. О чем задумалась? – спросил старик, ласково глядя ей в глаза.

– Вернер, меня очень угнетает ваш конфликт. Вы никак не можете забыть. Полтора года прошло. Герман тогда был не в себе. Но его тоже надо понять. Вы поступили более чем странно. Уйти из института, все бросить, порвать все профессиональные и человеческие связи. Ради чего?

– Ради чего? – старик поиграл вилкой, пошевелил бровями. – Ну, Герман же объяснил: я бессердечный эгоист, шарлатан, тщеславный до безумия. И ведь он прав. Живу замкнуто, веду себя странно. Давно пора сдать меня куда положено и решить проблему в соответствии с гуманным законом об эвтаназии. Разве Герман не обсуждал с тобой этот вариант?

– Ну зачем вы так? – Эмма покачала головой. – На самом деле Герман до сих пор сильно переживает, он тогда просто сорвался.

– Мг-м, я понимаю, – кивнул старик и принялся за еду.

Эмма тоже взяла вилку. Несколько минут молча жевали, уставившись в свои тарелки. Вернер закончил первым, промокнул губы, откинулся на спинку стула и пробормотал чуть слышно:

– Не сорвался он, а заврался, все вы заврались, вот и пошла цепная реакция. Скоро испугаетесь, захотите остановить, да не получится. Поздно.

* * *

Илья проснулся среди ночи, будто кто-то нарочно разбудил его, выдернул из жуткого сна. Снилось ему унылое пространство под бурым небом, выжженное поле, обугленные палки вместо леса, развалины вместо города, все мертвое, плесневело-серое, и повсюду бродили зыбкие существа, отдаленно похожие на людей, с белыми лицами, черными дырами ртов и глазниц. Они копались в развалинах, таскали с места на место камни, полоскали в лужах рваное тряпье, мыли, оттирали какие-то побитые склянки, мятые кастрюли, но все оставалось грязным и негодным. Иногда они пропадали, сливались с тусклым пейзажем, опять возникали и продолжали свою бессмысленную работу. Илья был одним из них, осознавал ужас этого полусуществования, тело не слушалось, из горла не вырывалось ни единого звука, будто удалили голосовые связки.

Открыв глаза, он не сразу понял, что больше не спит, неподвижно лежал, глядел в потолок и видел те же развалины, тех же призраков.

Рядом, свернувшись калачиком, крепко спала Маша. Он слышал ее ровное дыхание, чувствовал тепло. Фосфорные стрелки будильника показывали четверть пятого. Илья полежал еще немного, окончательно пришел в себя и понял, что уснуть уже не сумеет. Осторожно вылез из-под одеяла, надел халат, тихо прикрыл дверь, включил маленький ночник на кухне и поставил чайник на огонь.

Кошмар тяжело, как перекишшее тесто, перевалил за пределы сна и не желал убраться восвояси. А вдруг он вещий? Картина мира после победы Гитлера. Точно как в нацистской песне: *«Мы все победим и растопчем огонь, и, погибель неся, Германия наша сегодня, а завтра вселенная вся»*.

Он налил себе чаю, отправился со стаканом в гостиную, включил приемник, надел наушники, принялся крутить ручку.

Сквозь треск и свист прорывалась музыка. Танго, фокстроты, военные марши. Илья послушал ноктюрн Шопена, потом поймал Би-би-си, выпуск новостей:

– *Рано утром десятого января немецкий военный самолет, летевший из Мюнстера в Кельн, потерял ориентировку в облаках над Бельгией и совершил вынужденную посадку на территории Бельгии. Самолетом управлял ответственный штабной офицер люфтваффе. При нем был портфель с секретными документами, которые он пытался уничтожить, но не успел. Таким образом в руки бельгийской полиции попали немецкие оперативные планы наступления на западе, разработанные во всех деталях и неопровержимо доказывающие намерение Германии напасть на Бельгию.*

Илья взял листок, карандаш, стал быстро записывать, то и дело поглядывая на большую подробную карту Европы, занимавшую полстены, и думал: «Фальшивка, блеф? Странно, что

англичане сообщают об этом, обычно они все засекречивают. Впрочем, случай с самолетом ничего не меняет. Можно засекретить, можно по радио объявить, напечатать во всех газетах. Что Гитлер скоро продолжит наступление, и так очевидно. Если в портфеле пилота был реальный план, Гитлер его подкорректирует, двинется сначала на север, в Скандинавию. Ну, это не война. Аншлюс по австрийскому образцу. Скандинавы – сверхнордическая раса, почище самих немцев. Гитлер оккупирует их нежно».

Выпуск продолжился новостями из Финляндии:

– *Вчера во время очень интенсивных воздушных налетов на гражданское население несколько сотен советских самолетов сбросили около трех тысяч бомб на разные районы, включая Тампере, Турку, Пори. Очень много обстрелов из пулеметов, но благодаря эффективной организации гражданской обороны, по нашим данным, было убито трое гражданских и тридцать пять ранено... Финский патруль наткнулся на отряд из ста пятидесяти русских, финны приготовились к бою, но оказалось, что русские, все до одного, замерзли насмерть...*

Затем выступил корреспондент, только что вернувшийся из Финляндии и побывавший в районе боевых действий:

– *Теперь я знаю, что такое артобстрел. Если бы не ужасающий, рвущий мозг на куски огонь артиллерии, я бы испытывал жалость к серым русским массам. Они шли в своих длиннополых шинелях, по пояс в снегу, прямо на финские пулеметы. Их танки были уничтожены финскими противотанковыми пушками и меткими гранатометчиками. Русские шли в атаку покорно и тихо, тщетно пытаясь прикрыться бронещитами. Пулеметный огонь прошивал поле, оставляя изувеченные тела, которые вскоре застывали навсегда.*

Илья выключил радио, снял наушники. Не мог он это слушать. Любое упоминание о Финской войне вызывало лютую тоску и боль. Он открыл форточку, несколько минут смотрел в окно, в темноту спящего двора.

Аккуратный сугроб на месте центральной клумбы под фонарями отливал бледным золотом. Ряды окон были темны, но далеко не все за этими окнами крепко спали. Хроническая бессонница – самый безобидный из недугов, которыми страдают обитатели чиновных домов в центре Москвы. О чем они думают во время своих бессонниц? Раньше лучшим лекарством от неправильных мыслей было магическое заклинание: «Товарищ Сталин не знает, что делается, во всем виноваты враги». Недавно вошла в обиход новая формула: «Товарищ Сталин знает, что делает». Но к ней упрямо цеплялась закорючка вопросительного знака, превращая заклинание в вопрос. А вопрос требовал ответа, хотя бы самому себе.

Илья допил чай, улегся на диван, но никак не мог согреться под пледом. В голове продолжал звучать бесстрастный голос британского диктора: «...отряд из ста пятидесяти русских... оказалось, что русские, все до одного, замерзли насмерть...»

Он съезжился, зарылся лицом в подушку, пробормотал:

– И мальчики замерзшие в глазах...

Сталинский блицкриг бездарно забуксовал в маленькой Финляндии. А раньше Хозяину все удавалось. Творил ужасные вещи на огромных территориях и не встречал сопротивления. Избалован легкими победами. Коллективизация, индустриализация, чистки. Вот его триумфальные блицкриги. Сотни миллионов безропотно подчинились его воле.

«Краткий курс» сумел победить реальность внутри СССР, но время не остановилось, пространство не сжалось до пределов одной, отдельно взятой страны, зато сжалось личное пространство Сталина, замкнулось между Кремлем и Ближней дачей. Внешний мир для него закрыт, как для заключенного. Сквозь пуленепробиваемые стекла автомобиля по дороге из Кремля в Кунцево и обратно он ничего не видит, сидит в центре салона, на специальном откидном стульчике, между офицерами охраны. Раньше он хотя бы иногда отдыхал на Черноморском побережье, послов принимал. Последним иностранцем, с которым он общался, был Риббентроп. Хороши плоды триумфа, ничего не скажешь.

Да, «Курс» победил, но дела его шли скверно. Главный пропагандистский козырь – «происки врагов-троцкистов-фашистов» – больше не работал. Фашисты стали друзьями, но поскольку много лет они с «троцкистами» оставались неразлучной парой, использовать в пропаганде только «троцкистов» уже не получалось. И другой козырь – борьба за мир – лопнул. В Польшу вошли вместе с Гитлером, на Финляндию напали. Попытка назвать это борьбой с польским и финским фашизмом провалилась. И сама Финская кампания – позорный провал. Понятно, Ворошилов кретин, в армии бедлам, нет зимнего обмундирования, лыж, маскхалатов, полевых кухонь, командиров, способных принимать решения. Но население Финляндии чуть больше трех миллионов, а СССР – гигантская держава, которая последние десять только и делала, что вооружалась, готовилась к войне. Хороша готовность!

Стрелки вытянулись в одну линию вдоль циферблата. Шесть утра. За окном стали слышны первые утренние звуки. Шорох лопаты дворника, грохот мусоровоза. Во дворе заурчал мотор, хлопнула дверца автомобиля. Кто-то из сановных соседей уже отправлялся на работу.

У Ильи осталась пара часов до начала рабочего дня. Он не спеша сделал гимнастику перед открытой форточкой, принял контрастный душ. Горячая вода, почти кипятки, потом ледяная, и так до тех пор, пока не смоешь муть бессонной ночи.

Перед уходом он разбудил Машу, она обняла его, забормотала что-то и открыла глаза только после того, как он поцеловал их, один за другим. Нежное тепло ее сонных век, щекотное покалывание ресниц долго оставались на губах.

На улице у редких прохожих пар валил изо рта. По Воздвиженке, по Моховой, урча моторами, проезжали вылизанные начальственные «Паккарды». В свете фар и фонарей кружились мелкие редкие снежинки. Из-за облака, пушистого и толстого, как дымчатый кот, выглянул бледный утренний месяц и сразу спрятался, словно испугавшись боя курантов. На фоне темного неба матово светились новенькие рубиновые звезды кремлевских башен, отчего башни напоминали рождественские елки.

«Господи, как же хорошо жить, – думал Илья, втягивая ноздрями упругий морозный воздух. – Зачем война? Зачем эти два фантома? Кто они такие? Исчадия ада, которые хотят превратить живую землю в мертвую колонию своей подземной империи? Или два сумасшедших, поднявшихся на вершину власти из-за стечения случайных обстоятельств?»

У подъезда его нагнал Поскребышев. В белом тулупе, в ушанке со связанными под подбородком ушами, в валенках с калошами, он был похож на деревенского сторожа. Похлопав Илью по спине рукой в меховой варежке, бодро крикнул:

– Морозец-то хорош, градусов двадцать. – И добавил, когда вошли в подъезд: – Нянька форточку в детской на ночь открывает, Наташка чихает. За завтраком чихнула с полным ртом манной каши, и все на мой новый пиджак. Нет чтоб на няньку. Я ж говорил ей, дуре: закрой, простудишь ребенка. А она: свежий воздух, свежий воздух.

Дочь Наташа стала самым главным человеком в жизни Поскребышева, главное товарища Сталина, теперь уж точно главное. Жену Александра Николаевича, Бронку, арестовали в мае тридцать девятого, когда Наташе не было и двух месяцев. Хозяин с тех пор часто спрашивал свою обезьянку: «Как Наташа?» Поскребышев благодарил за заботу, да так горячо, что казалось, сейчас к руке приложится. Но Илья видел его лицо потом, когда Хозяин не видел. Забавная обезьянья личина сползала, лицо искажалось гримасой ненависти, придушенной, глубоко запрятанной, но очень сильной.

Когда поднялись наверх, Поскребышев вручил Илье две увесистые папки. В одной материалы с Лубянки, в другой – из Разведуправления Генштаба. Сводку приказано было подготовить к завтрашнему утру.

Илья поднялся в свой кабинет, позвонил в буфет, заказал завтрак и раскрыл первую папку.

Перед ним лежало спецсообщение НКВД, украшенное самой солидной шапкой: *«Сов. секретно, ЦК ВКП(б) тов. Сталину, СНК СССР тов. Молотову»*. На сопроводительной записке стояла подпись Берия. В документе излагалась пространный речь Геббельса. Начинаясь она так:

«Я говорю перед интеллигентными немцами, говорю искренне и прямо».

Далее – тирада о чешском духовенстве, монархических кругах и семье Габсбургов. Длинный пассаж, касавшийся чехов, завершался по-геббельсовски красиво: *«Нам не остается ничего другого, как обращаться с ними по Библии: стегать их железными кнутами и истреблять их всеми возможными средствами».*

Конечно, не ради Габсбургов и железных кнутов Берия знакомил Хозяина с этим шедевром. После длинной чешской преамбулы Геббельс произнес следующее: *«СССР обречен на исчезновение со времени подписания с нами договора. Мы знаем, что СССР постарается однажды обратиться против нас. Но будет слишком поздно. Он ошибается, как все низшие народы, которые пытаются сблизиться с германской расой... Итак, я резюмирую нашу позицию. Наш экономический враг – Англия. Но нашим смертельным врагом всегда останется СССР».*

Где говорил Геббельс, кто эти «близкие сотрудники, интеллигентные немцы», не указывалось. Берия пояснял, что «закордонный источник» получил текст от руководителя филиала чешской разведки в Париже, и страховался в конце: *«Не исключена возможность, что материал составлен самими чехами с ведома французской разведки».*

В дверь постучали, Илья привычным жестом закрыл и убрал в ящик папки. На этот раз вместо буфетчицы Таши завтрак принес незнакомый хмурый официант. Ни конфет, ни прибауток. Все быстро, молча и как-то слишком напряженно. «В тридцать седьмом я бы из рук этого хмыря ни пить, ни есть не решился, – подумал Илья, – впрочем, отраву могла принести и Тася, с прибаутками. Конечно, грохнуть могут в любой момент, но отравят вряд ли, кажется, у Берия другой стиль».

Илья отхлебнул кофе, откусил бутерброд, пробормотал:

– «Да» и «нет» не говорите, черный, белый не берите. Вы поедете на бал?

Он перечитал текст еще раз. Для фальшивки опус выглядел слишком по-геббельсовски, стиль рейхсминистра пропаганды спецреферент Крылов изучил досконально. Геббельс мог говорить все это на закрытом совещании в своем министерстве, на одном из ежедневных инструктажей для немецких журналистов.

Берия второй год возглавлял НКВД, но еще ни разу не украсил своей подписью ни один документ, касавшийся Германии. Он аккуратно обходил гитлеровскую тему, во всяком случае в документах. Значит, сорвался, не выдержал, решил угостить Хозяина изрядной порцией суровой реальности, слегка подсластив ее осторожной припиской.

Илья вспомнил пометки покойного Артузова, начальника ИНО НКВД, расстрелянного в тридцать седьмом. За несколько лет до начала процессов стала нарастать волна сообщений о подготовке переворота в СССР, о бесчисленных шпионах, немецких, английских, французских, польских, о сговоре Троцкого с Гитлером против Сталина.

К тридцати шестому развединформация окончательно слилась воедино с генеральной линией партии, советские агенты из Берлина, Парижа, Лондона присылали на родину дословное изложение передовиц «Правды» в зашифрованном виде. Артузов ставил восклицательные и вопросительные знаки, писал: *«Чушь, бред, провокация, надежность источника сомнительна»*. Сменивший Артузова Слуцкий ничего подобного себе не позволял. Потом разведка исчезла.

Теперь что же? Опять появилась? Впервые за последние четыре года развединформация не совпадала с генеральной линией и передовицами «Правды». Раньше приписки и пометки на донесениях оставались последними слабенькими проблесками здравого смысла в крошеч-

ной тьме. Теперь они выглядели заплатками на капсуле сталинской сказки, которая трещала и крошилась под напором реальности.

Глава шестая

Ося не сомневался, что война сильно изменит стиль работы «Сестры», но не мог представить, что в качестве связника явится такой пожилой, солидный господин. В любом случае, он был рад. Долгое молчание «Сестры» и собственное вынужденное бездействие изматывали нервы.

После обеда бельгиец предложил опять отправиться на прогулку. Как только они оказались вдали от посторонних ушей, в парке на окраине Брест-Литовска, Тибо резко прервал печальную болтовню о нацистско-советском триумфе, замолчал на полуслове и после паузы произнес тусклым, приглушенным голосом:

– В Британии на основе новейших открытий физиков создано оружие чудовищной силы. – Он поймал на лету кленовый лист, покрутил его и продолжил со вздохом: – Бомба весом не более пяти килограммов взорвется с мощностью десяти мегатонн тротила. Окончательные испытания приостановлены, они могут привести к страшным последствиям и скомпрометировать работу в целом. Сейчас на острове проводятся мероприятия по расчетам времени, необходимого самолету, который сбросит бомбу, чтобы отлететь на безопасное расстояние.

Выдав этот странный пассаж, Тибо засопел, снял шляпу и стал обмахиваться ею, как веером. Ося решил не задавать вопросов. После минуты молчания бельгиец пояснил:

– Примерно такой текст в виде короткой заметки должен появиться в воскресном приложении «Пополо де Италия», чем скорее, тем лучше.

– За чьей подписью?

– Надеюсь, не за вашей. – Тибо вытер платком мокрую лысину и надел шляпу. – Подарите сенсацию какому-нибудь начинающему репортершечке, не мне вас учить. Приписка о конфиденциальности источника только добавит перцу.

Задание было до обидного легким. Организовать такую публикацию ничего не стоило.

– Это что, попытка напугать Гитлера? Оправдание своего бездействия? – спросил он с грустной улыбкой.

Тибо помотал головой.

– Это попытка выяснить, как далеко продвинулись немцы в работе над урановой бомбой.

Они остановились у скамейки. Прежде чем сесть, Тибо аккуратно расправил полы светлого плаща, потом положил шляпу на колени, принялся вытирать лицо и лысину. Носовые платки лежали у него во всех карманах, Ося подумал, что в день он использует не меньше дюжины. В голове замелькали обрывки прощального разговора с Габи в первый день войны. Недавно что-то там открыли насчет урана... Советник торгового отдела проболтался спьяну... Сила миллионов пуль и сотен тысяч бомб... бельгийцы сорвали сделку...

– Среди физиков нет разведчиков, зато они есть среди журналистов и дипломатов, – сердито проворчал Тибо, – но журналисты и дипломаты ничего не смыслят в физике.

– Справедливое замечание, – кивнул Ося.

Бельгиец повернулся к нему всем корпусом и впервые за несколько часов их знакомства взглянул прямо в глаза. Он близоручко шурился, Ося подумал, что, кроме дюжины платков, в его карманах должны лежать очки. И тут же они появились, вместе с очередным платком. На этот раз Тибо протер не лицо, а круглые стекла в тонкой стальной оправе.

«Дальнозоркость», – заметил про себя Ося, когда очки оказались у Тибо на носу и, словно лупы, увеличили его светло-карие, с зеленым отливом, глаза.

– Ну вот, – Тибо отвел взгляд и улыбнулся, – первый отборочный тур вы прошли успешно.

– Простите? – Ося удивленно шевельнул бровью.

– Рекомендации «Сестры» – условие необходимое, но недостаточное. Я же сказал вам, я хороший физиономист. Надеюсь, что не ошибся в вас. Предупреждаю, то, что я вам собираюсь предложить, потребует серьезных интеллектуальных усилий, будет сопряжено с дополнительной нагрузкой. Ни сверхурочных, ни нобелевских премий. И даже морального удовлетворения не обещаю, потому что усилия и риск могут оказаться напрасными. Лучше сразу откажитесь.

– Вы еще ничего не предложили.

– Потому что не знаю, с чего начать, – бельгиец нахмурился, на лбу образовалась аккуратная комбинация морщин в форме буквы «W», – газетная утка – это, так сказать, официальная часть нашей встречи. Задание «Сестры». Кроме газетных уток, «Сестра» организовала утечку информации из министерства обороны. Если немцы клонут, сунут свой нос, значит, они сами работают над бомбой и хотят выяснить, как обстоят дела у британских физиков. На мой взгляд, затея глупая и бессмысленная. Во-первых, у британских физиков в этом направлении дела никак не обстоят. Во-вторых, работа немецких физиков над бомбой – очевидный факт. Вы что-нибудь знаете об открытии деления ядра урана?

– Нет, – честно признался Ося, – хотя слово «уран» в связи со сверхоружием я уже слышал.

– Имя Лео Силард вам знакомо?

Ося вздохнул и помотал головой.

– Это физик, немецкий эмигрант. Он первым забил тревогу. А теперь, пожалуйста, попробуйте вспомнить, каких современных физиков вы знаете.

– Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Энрике Ферми, Кюри... Да, Кюри во Франции целая династия. В Германии Макс Планк, Вернер Гейзенберг, Карл Вайцеккер.

Тибо рассмеялся:

– Малыш Карл, наверное, лопнул бы от гордости, услышь он свое скромное имя в компании гениев, нобелевских лауреатов.

– Просто он сын статс-секретаря германского МИДа, поэтому я знаю, – объяснил Ося.

– Это уже кое-что. Ваш коллега из Испании, с которым я общался десять дней назад, назвал только Эйнштейна.

– Еще, конечно, Эрнст Резерфорд, – вспомнил Ося, – но он умер.

– Мг-м, и с ним умерла эпоха. – Тибо засопел, опять полез в карман, но вместо очередного платка извлек замусоленный, сложенный вчетверо листок бумаги и протянул Осе.

Это был третий или четвертый, почти слепой экземпляр машинописного текста, напечатанный через один интервал. Ося начал читать и тихо присвистнул.

Франклин Д. Рузвельту, президенту Соединенных Штатов. Белый дом. Вашингтон. 2 августа 1939 года.

Сэр!

В течение последних четырех месяцев стала вероятной осуществимость ядерных цепных реакций в большой массе урана. Это новое явление может привести к созданию чрезвычайно мощных бомб нового типа... Ввиду этого, может быть, Вы сочтете желательным установление постоянного контакта между правительственной администрацией и группой физиков, работающих над проблемами цепной реакции в Америке...

Я осведомлен, что Германия в данный момент прекратила продажу урана из захваченных ею чехословацких рудников...

Искренне Ваш, А. Эйнштейн

– Силард уговорил Эйнштейна написать это письмо и передал его ближайшему советнику Рузвельта. Прошло полтора месяца, но никакого ответа, никакой реакции, – объяснил Тибо, забрал листок, сложил, спрятал в карман, – итак, Альберт Эйнштейн, физик номер один,

выражает озабоченность. Физик номер два, Нильс Бор, утверждает в своих статьях и устных выступлениях, что тревожиться не стоит, и приводит пятнадцать веских доводов, почему в ближайшие десять лет сделать урановую бомбу практически невозможно. А физик номер три, Вернер Гейзенберг, уже начал делать урановую бомбу для Гитлера.

– А физик номер четыре, Лео Силард, пытается этому помешать, – задумчиво пробормотал Ося.

– Лео Силард в число мировых знаменитостей не входит. – Тибо усмехнулся. – На четвертое место я бы поставил Ферми, хотя это вопрос спорный, может быть, на четвертом Гейзенберг, а Ферми на третьем. Неважно. Главное, Силард единственный из физиков, кто отдает себе отчет в реальности мировой катастрофы и пытается ее предотвратить. Как только стало известно об открытии деления ядра урана, он обратился ко всем физикам с предложением не публиковать ничего по этой теме, засекретить исследования. Это вызвало недоумение: как? цензура в храме науки? Никто не согласился. Тогда он обратился к Эйнштейну. Письмо есть, а результат – ноль. Пока удалось только приостановить продажу урана немцам. В Чехословакии урана немного, есть он в Богемии, основной мировой уран добывается в Бельгийском Конго. Добычу ведет бельгийская фирма «Юнион майнер». Лео убедил сначала Генри Тизарда, председателя комитета научного планирования Великобритании, а потом Жолио-Кюри встретиться с директором «Юнион майнер». К их доводам директор прислушался и не заключил с немцами очередной контракт.

– Значит, все-таки Силард не единственный, Кюри тоже, – заметил Ося.

– Кюри и Ферми продолжают публиковать информацию, которая может помочь немцам в работе над бомбой. Они сторонники своей научной славы и противники цензуры в храме науки. А немцы между тем еще в апреле прекратили публикации на урановую тему. Они все засекретили, и неизвестно, что там у них происходит. К счастью, в «Сестре» есть люди, которые осознают уровень проблемы. Было принято решение подключить к этому самых надежных нелегалов, имеющих гражданство дружественных рейху государств.

– Да, я понял, – кивнул Ося. – Что конкретно я могу сделать?

– Пока только организовать газетную «утку» и освоить урановую тему. По нашей информации, бомбой занимается около двух десятков институтов по всей Германии, но сердце исследований в Далеме, в Институтах физики и химии Общества кайзера Вильгельма. Кстати, ваш знакомый Карл Вайцзеккер работает сейчас там под руководством Гейзенберга.

– Мы знакомы шапочно, два-три раза встречались на теннисном корте и на дипломатических вечеринках.

– Вы часто бываете в Берлине, попробуйте продолжить и развить это знакомство. Вайцзеккер любит болтать о философии, людям его типа всегда не хватает слушателя, восторженного дилетанта. Работа над бомбой – тоже нечто вроде философских упражнений. Познание сокровенных тайн материи, победа разума над хаосом. А бомба – так, побочный продукт. Конечно, в глубине души каждый из них понимает, что такое урановая бомба в руках Гитлера, но к их услугам высокая и красивая демагогия, вечная помощница мерзавцев. В Первую мировую те самые институты в Далеме занимались химическим оружием.

– Завербовать Вайцзеккера вряд ли удастся, – осторожно заметил Ося и закурил.

– Об этом не может быть речи. Просто поддерживайте контакт, следите за настроением. Возможно, удастся познакомиться с кем-то рангом пониже, тогда подумаем о вербовке.

– Этак мне придется переехать в Берлин.

– Зачем? У вас есть там близкая подруга, подключите ее.

Ося нервно передернул плечами. Конечно, «Сестра» знала о Габи, но никогда не требовала подключать ее к работе.

– Хорошо, я подумаю. Сначала я сам должен освоить урановую тему, моя берлинская знакомая не тот человек, который...

– Перестаньте. – Тибо сморщился. – Как раз тот. Просто вы ее бережете. В мирное время «Сестра» давала вам право использовать этот источник по вашему усмотрению. А сейчас война.

– Я заметил.

– Вот и отлично. Вернемся к урану. Наши эксперты считают доводы Бора против возможности создать бомбу абсолютно справедливыми. Сегодняшний уровень знаний и технологий не позволит немцам двигаться быстро. Но наука развивается скачками. Однажды в чью-то голову придет гениальная идея. С делением ядра получилось именно так. Лучшие физики и химики несколько лет дробили урановые ядра, не понимая, что делают. Они по-разному трактовали показатели приборов, предлагали все версии, кроме одной, единственно верной. Представьте, перед вами каменная глыба, ее невозможно пробить самыми тяжелыми снарядами. И вдруг глыба разваливается пополам от удара теннисного мяча. Это противоречит всем законам науки, но это факт. Идея, которая доказательно опровергнет любой из доводов Бора, станет открытием такого масштаба, что никакое гестапо не помешает ему просочиться сквозь стены секретных лабораторий. Но от идеи до практического применения пройдет время, пусть недолгое. Это наш шанс. Главное – не прозевать.

– Кто же все-таки кинул мячик, разваливший глыбу?

– Кидали все. Важно не кто кинул, а кто осмелился пренебречь общепринятыми законами и поверить в невозможное.

– Вы так и не назвали имя.

Тибо пожал плечами.

– Оно вам ничего не скажет. Профессор Мейтнер.

Сигарета в руке Оси вдруг зашипела и погасла, на ее кончик упала крупная капля. Он и Тибо только сейчас заметили, что стемнело, подул холодный ветер и дождь зашлепал по аллее, по листьям кленов.

– Зонта, разумеется, нет ни у меня, ни у вас, – сердито проворчал Тибо, поднимаясь со скамейки, – мне ни в коем случае нельзя простужаться.

* * *

Карл Рихардович удивился, когда вместе с Машей на Мещанскую пришел Илья. В Новый год он сказал Маше, что ему надо срочно встретиться с Ильей по важному делу, но не надеялся увидеть его так скоро.

– Спасибо Яше Риббентропу, что нам открыл окно в Европу, – вполголоса пропела Маша, – самая модная частушка в театре. Музыка Вагнера, слова народные.

– На большой сцене первая репетиция «Валькирии» для Политбюро, – объяснил Илья.

– Растут и крепнут культурные связи. – Маша размотала пуховый платок, поправила волосы перед зеркалом. – У меня спектакль отменили. Видела сегодня Эйзенштейна, совсем близко. Потрясающе! Утомленный гений, сократовский лоб, шевелюра дыбом, как корона, а глаза детские.

– Как может ставить Вагнера режиссер, который снял «Александра Невского»? – прошептала Вера Игнатьевна. – Любимый композитор Гитлера, а Эйзенштейн к тому же...

– Утомленный гений ставит что велят, – сказал Илья.

– Не язви, – одернула его Маша, – он правда гений, без шуток.

– Без шуток, но с детскими глазами, – небрежно заметил Вася и стал рассказывать о невероятном устройстве, чуде современной техники, которое передает изображение на расстоянии. Называется иконоскоп или телевизор.

– Экран крошечный, как спичечный коробок, перед ним здоровущая лупа, передачи идут через Шуховскую башню на Шаболовке, красивая такая стальная конструкция. Уже сто теле-

приемников в Москве, скоро будут везде, как радио. Что хочешь смотри – кино, цирк, концерты...

Все толклись в коридоре и говорили одновременно. Маша – об Эйзенштейне, Вася – об иконоскопе, Вера Игнатьевна – о платье для Маши, уже раскроенном, сметанном.

– Лето не за горами, крепдешин тот самый, голубенький, в мелкий цветочек, ну, помнишь?

Карл Рихардович под шумок увел Илью к себе в комнату.

– Я готов полюбить эту валькирию. – Илья тяжело опустился в кресло. – Подарила нам с Машкой аж четыре часа свободного времени. Правда, никто не знает, куда он отправится из театра, спать или опять работать.

– Будем надеяться, Вагнер не вдохновит его на новые подвиги, – сказал Карл Рихардович.

– Да уж, одного вдохновленного довольно. – Илья усмехнулся.

Торшер стоял возле кресла, в круге света доктор заметил, что голова у Ильи стала почти седая, лицо осунулось, и подумал: «Ему только тридцать два, мы знакомы пять лет, за это время он постарел на все двадцать. Как же ему достается...»

– Что, доктор, хреново выгляжу? – спросил Илья, поймав его взгляд.

– Ну нет, почему? Просто не высыпaeшься, на воздухе мало бываешь.

Прежде им удавалось хотя бы раз в неделю выкраивать время, гулять по московским бульварам. Эти долгие прогулки были отдушиной, прибавляли сил. Не только свежий воздух и быстрая ходьба, но и возможность выговориться.

Илья оставался единственным человеком, с которым доктор мог свободно говорить о чем хочется, и последней ниточкой, связывающей с прошлой жизнью.

Задолго до их первой встречи доктор Штерн существовал для спецреферента Крылова как Д-77, закодированный берлинский источник в спецсообщениях ИНО. Вряд ли сейчас кто-либо, кроме Ильи, доподлинно знал реальную биографию доктора Штерна, как и почему он очутился в СССР. Спецреферент Крылов продолжал числиться куратором «немца, который лечил Гитлера», так что их встречи и долгие разговоры были вполне оправданны и законны. Но в последнее время они виделись редко. Доктор каждое утро уезжал в Балашиху, возвращался поздно, курс в школе был ускоренный, приходилось часто заниматься со своей группой в выходные. Илья пропадал на службе сутками.

С начала января ударили морозы под тридцать, по бульварам не разгуляешься. Зато теперь они могли спокойно говорить в квартире на Мещанской. Илья, наконец, выяснил систему прослушек. Специальная техника была в большом дефиците, ее использовали только в служебных кабинетах. В жилых помещениях слушали люди, через стены. В доме на Грановского, в других спецдомах оборудовались простенки-каморки между квартирами, там посменно дежурили «слухачи». А на Мещанской, в обычном доме, прослушивался только телефон.

– Голова часто болит? – спросил доктор, вглядываясь в припухшие, красные от недосыпа глаза Ильи.

– Не очень. – Илья махнул рукой. – Как обычно. Да и болеть нечему. Нет у меня никакой головы. Кто я? Говорящий карандаш. Расставляю акценты в сводках и докладах, тешу себя иллюзиями, будто могу хоть как-то повлиять, посеять сомнения.

– Считаешь, он действительно верит в здравый смысл Гитлера?

– Мг-м. – Илья сморщился. – Верит так же, как несчастные старые большевики перед процессами верили в его, Сосо, здравый смысл. Бумажкам договоров верит так же, как Чемберлен с Деладье в Мюнхене. Глупость та же, масштаб последствий другой.

– Да, масштаб другой. – Доктор задумчиво потер переносицу. – Неужели выход на международную арену нисколько его не отрезвляет? Он хотя бы заметил, что во внешнем мире не все ему подвластно?

Илья молча помотал головой.

– Но ведь он издал указ о всеобщей воинской обязанности, снизил призывной возраст, увеличил срок службы! – вспомнил доктор.

– Ага, – кивнул Илья, – только забыл, что солдатам нужны одежда, обувь, казармы, полевые кухни, лазареты, оружие, транспорт.

– Все-таки указ издал, значит, чувствует опасность.

– Смутно. – Илья усмехнулся. – Сквозь сияние своего ослепительного величия. Представить невозможно, сколько идет сейчас в рейх нашего зерна, нефти, золота, платины. Ленин говорил: полезные буржуазные идиоты сами продают нам веревку, на которой мы их повесим. Именно этим Сталин сейчас и занимается. Продает Гитлеру веревку.

– Ну а что ему остается? – Доктор пожал плечами. – Загнал себя в эту ловушку, когда подписал пакт.

– Брестский мир, – чуть слышно пробормотал Илья.

– Что, прости?

– Пакт – второй Брестский мир. Ленин в восемнадцатом откупился территориями. Сталин откупается огромными поставками. Ленин понимал, что делает, называл Брестский мир «похабным». А Сталин считает пакт величайшим своим достижением.

– Но ведь ему удалось вернуть территории, – возразил доктор.

– Удалось. – Илья кивнул. – И этим он значительно облегчил Гитлеру его задачи.

– То есть как?

– А вот так. Территорию расширили, а там границ-то раньше не было, все голенькое, беззащитное. Ни дотов, ни аэродромов.

– Неужели трудно построить? – изумился доктор.

– Не трудно вовсе. Но вдруг Гитлер обидится, если мы начнем укреплять границы? К тому же бетон нужен для фундамента Дворца Советов. В дыру на месте взорванного Христа Спасителя тысячи тонн залили бетона. Каркас для дворца собрали гигантский. Сталь самая лучшая. Из нее могло бы получиться тысячи три-четыре танков. Но вместо танков ему понадобился океанский флот, крейсера и линкоры в толстой стальной броне.

– Зачем? – выдохнул доктор. – Америку завоевывать?

– Вот уж нет, воевать с Америкой ему точно неохота. Да и флот этот, скорее всего, никуда не поплывет. Но ему хочется, чтобы его броня была самая толстая, пушки самые длинные, патроны самого крупного калибра, дворец самый высокий и прочный, на века. А что корабли в такой броне потонут, танки с места не сдвинутся, пушки не выстрелят, самолеты разобьются, это происки врагов.

– Интересно, почему он всегда выбирает наихудший вариант действия из всех возможных?

Илья пожал плечами и после долгой паузы произнес:

– Он всегда выбирает вариант, который считает самым выгодным для себя лично. Странная закономерность. То, что выгодно ему, для всех остальных кошмар.

– Думаешь, он осознает это?

– Не знаю. – Илья потянулся за папиросой. – Помню, много лет назад, в двадцать пятом, на похоронах Фрунзе, он произнес: *«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу?»*

– Прости, а кто такой был Фрунзе? – спросил доктор, чиркнув спичкой.

– Командарм, герой Гражданской войны, толковый военный, – объяснил Илья, прикуривая, – ходили слухи, что умер не сам. Я, мальчишка, первокурсник, слушал траурную речь, и от этой фразы мороз продрал. До сих пор не могу забыть, хотя за эти годы слышал и читал тысячи разных его перлов...

– Что же тут особенного? – перебил доктор. – Древняя проверенная формула власти: уничтожать конкурентов, критиков, умников. Так поступали все диктаторы.

– Да, – кивнул Илья, – но никто еще не объявлял об этом публично, в самом начале своего правления. Поразительная искренность. Ну, уважаемый психиатр, скажите, как уживаются в одной голове изощренная дьявольская хитрость и глупость на грани кретинизма?

– Что-то хитрости особенной я больше не вижу, – тихо заметил доктор. – А ведь раньше казалось...

– Вот именно, казалось. – Илья затушил папиросу, потянулся в кресле, закинул руки за голову. – Эта пресловутая дьявольская хитрость такой же фантом, как здравый смысл Гитлера и автографы Риббентропа под договором о дружбе и границах.

– Не понимаю...

– Я тоже. – Илья нервно хохотнул. – Но не потому, что слишком сложно для понимания, а потому, что стыдно. Огромная, богатейшая страна ослаблена и унижена, как никогда за всю свою историю. Сыты и одеты меньше пяти процентов, счастливицы вроде нас с вами. Остальные стоят ночами в очередях за хлебом. Армия разгромлена, разведки нет. Не осталось ни одной здоровой, дееспособной отрасли хозяйства. Великие победы индустриализации, изобилие, ликование, дисциплина и порядок существуют лишь на парадах, в кино, в передовицах «Правды».

– Фантомы, фантомы, – растерянно повторил доктор, – а что же реально?

– Война.

– Когда?

– Весной, как только дороги подсохнут.

– В этом году?

– Надеюсь, все-таки в следующем.

– Но к войне надо готовиться, хотя бы границы прикрыть, они же теперь вплотную с Гитлером.

– Это мы с вами думаем, что надо прикрыть границы. А для него Гитлер союзник, выгодный и надежный. Вот Вагнера в Большом ставят. На премьеру фюрер вряд ли пожалует, но ему обязательно доложат. Он же сентиментальный. Заплачет и не нападет.

– В таком состоянии страна воевать не сумеет...

– Сумеет. Только погибнет в тысячу, в десять тысяч раз больше людей, чем во всех прежних войнах вместе взятых. – Илья помолчал и добавил другим голосом, пародируя грузинский акцент: – *«Чтобы легко и просто спустились в могилу...»*.

– Очень похоже на какой-то дьявольский план, – прошептал доктор. – Измотать, заморочить, вытянуть из миллионов людей силы – физические, умственные, моральные. Грабить собственную страну, кормить и вооружать Гитлера, оголить границу, открыть ее Гитлеру. Шаг за шагом, четко по плану.

– Мг-м, – кивнул Илья, – очередной троцкистско-фашистский заговор в Кремле.

– Не передергивай. – Доктор нахмурился. – Ну, согласись, невозможно объяснить события такого масштаба идиотизмом и трусостью одного человека.

Илья с таинственным видом поманил доктора пальцем и прошептал:

– Есть два грандиозных тайных плана. Один называется «Краткий курс», другой – «Майн кампф».

– Перестань. – Доктор махнул рукой. – При чем здесь их параноидный бред? Какая разница, что они там понаписали? А вот оговорка про могилу кое-что значит. Не случайно ты запомнил.

– Дурацкое свойство памяти. Нет бы Пушкина помнить наизусть или Тютчева. Вы даже не представляете, сколько за эти годы скопилось у меня в голове его речей, писуллек, оговорок.

– Ничего не поделаешь, Илюша, работа у тебя такая.

– Работа? – Илья рассмеялся. – Есть в ней смысл? Кому она нужна, моя работа? Я сам слишком охотно опускаюсь до убогого уровня. Дьявол ворожит? Не исключено. Однако ворожба сильна, пока дьяволу верят, а вера – дело добровольное. Ладно, заболтались мы, давно не виделись. Выкладывайте, что стряслось.

Карл Рихардович заранее подготовился к разговору, даже набросал конспект. За эти дни он успел кое-что почитать, одолжил у Васи пару учебников, научно-популярные журналы. Но прочитанное не помогло, наоборот, затуманило ту малость, которую он сумел усвоить из объяснений Акимова.

Доктор коротко выложил историю ссыльного профессора Мазура, попытался объяснить, что такое расщепление ядра и разделение изотопов урана, однако запутался и посетовал, что Акимов вернется только через неделю.

– Я понял, не мучайтесь. – Илья улыбнулся.

– Так быстро? – Доктор изумленно поднял брови. – Мы с Петей часа четыре проговорили, прежде чем я стал хоть что-то понимать.

– Вы старались вникнуть слишком глубоко, а я даже не пытаюсь. Мне ядерную физику изучать поздно, да и некогда. Письмо и ваш конспект возьму с собой.

– Подожди, я дам тебе копию. – Доктор достал из ящика несколько листов.

– Ого, вы так старательно переписали, даже формулы. – Илья не сумел сдержать ироническую улыбку. – А все-таки странно, почему этот ваш гениальный изобретатель не написал в Академию наук?

– Я же сказал, с него пятьдесят восьмую не сняли, публиковаться не может. – Доктор сердито тряхнул головой. – Ты вообще представляешь, что такое для ученого его открытие? Создать нечто новое и молчать – настоящая пытка. Мазур молчит. Никому, кроме Пети Акимова, своего бывшего студента, и то после долгих уговоров.

– Вот это меня и смущает, – пробормотал Илья, скользя глазами по строчкам.

– Да, – кивнул доктор, – меня это тоже сначала смутило. Я вот когда-то выдвинул парочку идей о связи психических заболеваний с соматическими. Не ахти что, но мое, оригинальное. Никто не додумался, я первый. Потребность поделиться с теми, кто поймет и оценит, колоссальная, неодолимая. Почему он отказывается писать коллегам? Почему? Я много думал об этом, искал ответ.

– Нашли?

– Представь, нашел. Мазур молчит потому, что уверен: писать коллегам бесполезно. Пока он в таком положении, никто не откликнется. Если бы не этот Брахт... – Доктор осекся, заметив ироническую улыбку Ильи, раздраженно выпалил: – Нет, ничего ты не понял!

– Почему? Главное до меня дошло. Если Брахт в Германии придет к тем же выводам, что Мазур, немцы могут достаточно быстро сварганить такую бомбу, что от нас мокрого места не останется.

– Ладно, – вздохнул доктор, – пока ты не осознал, но, надеюсь, скоро до тебя дойдет. Скажи, ты хотя бы примерно, в общих чертах, представляешь, что можно сделать?

Дверь открылась без стука, Маша впорхнула в комнату.

– Ужин на столе, все стынет. Ну, как вам? – Она завертелась перед ними в чем-то воздушно-голубом.

– Красиво, – кивнул Илья.

– Из тебя нитки торчат и булавки, – заметил Карл Рихардович, – смотри, уколешься.

– Это не просто красиво, это потрясающе, настоящий шедевр, ничего вы не видите, не понимаете оба. Ужинать идете или нет? Мама дуется уже на вас.

Вера Игнатьевна обижаться вовсе не собиралась, зато Вася встретил их надменно-отстраненным выражением и проворчал, ни к кому не обращаясь:

– Сидим, как дураки, с мытой шеей. А жрать-то хочется.

– Ну, извини, заболтались, – виновато улыбнулся доктор.

Вера Игнатьевна разложила по тарелкам жареную рыбу с картошкой. Вася набросился на еду, а Маша только слегка ковырнула вилкой и, пока все жевали, продолжила рассказывать об Эйзенштейне и «Валькирии».

– В принципе, мне Вагнер никогда не нравился, ледяная истерика, пафос. Если, допустим, танцевать, музыка тебя не держит, а изматывает, подавляет, в ней, конечно, есть величие, но не человеческое, а какое-то чужое. Чувствуешь себя беспомощной, никому не нужной былинкой под ураганом. Любви в ней нет, вот что. А под пафос танцевать невозможно.

– Так он балетов и не писал, кажется, – заметил Карл Рихардович.

– И правильно делал, – кивнула Маша, – у него вообще не балетный образный ряд.

– Маня, ты бы съела рыбы хоть кусочек, – вклинилась Вера Игнатьевна.

– Да-да, мамочка, обязательно, очень вкусно... Так вот, когда Эйзенштейн появился в театре, все побежали на него смотреть, слушать, как он общается с артистами. Он потрясающе интересно объясняет. Мимические хоры. Массовка полуголая, в шапках меховых с бараньими рогами. Они сливаются с главным персонажем, не помню, как его зовут. У них нет собственных чувств и мыслей. Каждая эмоция главного персонажа течет сквозь мимический хор. Текущее единство, руническая значимость мизансценического письма.

– Что, прости? – сдерживая улыбку, спросил Илья.

– Ну, имеются в виду магические руны древних германцев, – объяснила Маша, – он мизансцены называет рунами.

– Мимико-магические руны полуголые с бараньими рогами, – хмыкнул Вася и отправил в рот небольшую картофелину, целиком.

Илья повернулся к нему и спросил:

– Ты знаешь что-нибудь о расщеплении ядра урана?

– Главное открытие двадцатого века, – промычал Вася с набитым ртом. – Резерфорд не верил до конца жизни, а Вернадский предсказал еще в начале века, и цепную реакцию наши первые просчитали...

– Ты прожуй сначала, – посоветовала Вера Игнатьевна.

Вася кивнул, прожевал, поспешно выпил компот и обрушил на них лавину информации.

Карл Рихардович отметил про себя, что четырнадцатилетний ребенок рассказывает о ядерной физике проще и понятней, чем его отец, хотя сыплет терминологией так же лихо. Видимо, люди, неспособные отличить ион от изотопа, еще не превратились для него в безнадежных тупиц, которым бессмысленно что-либо объяснять.

Голос у Васи ломался, скакал от фальцета к басовым нотам и обратно.

– Уран самый тяжелый элемент, последний в таблице Менделеева, в его ядре девяносто два протона и сто сорок шесть нейтронов. В ядрах одного элемента число протонов всегда одинаковое, а нейтронов может быть чуть больше или чуть меньше.

– Откуда это известно? – спросила Маша. – Ты же сказал, все крошечное, невидимое. Как их можно посчитать?

– Для этого, Маня, надо быть Резерфордом, – Вася запустил пальцы в свою русую, ежиком стриженную шевелюру, – так вот, ядра одного элемента с разным числом нейтронов называются изотопами.

Он сбегал за перегородку, притащил стопку журналов, открыл верхний на заложенной странице, посыпались цитаты из статьи какого-то ленинградского профессора, и все заволочилось туманом. Карл Рихардович, поглядывая на остальных, заметил, что они тоже перестали понимать, растерялись и заскучили.

– Васенька, ты лучше своими словами, – попросила Вера Игнатьевна.

– Ладно, попробую. – Он отодвинул журналы, взял бумагу, карандаш, нарисовал большой овал.

– Атом, оболочка, а вот ядро. – Внутри овала появился крошечный кружок. – В ядре протоны и нейтроны. – Кружок наполнился едва заметными точками.

– Погоди, – опять перебила Маша, – я не понимаю. Атом по отношению к ядру у тебя огромный.

– Не у меня. – Вася сердито мотнул головой. – Он вообще огромный, на уровне микромира.

– А что же там, во всем этом пространстве, между ядром и оболочкой?

– Пустота.

– Внутри каждого атома? Просто пустота? Но если мир состоит из атомов, значит, в основном из пустоты? – Маша растерянно оглядела комнату. – Вот это все вокруг – стол, тарелки, картошка, соль в солонке, компот в стакане и мы сами – пустота?

– Не совсем. Там энергия, движение. Электроны крутятся вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. А внутри ядра движутся протоны и нейтроны. Протоны заряжены положительно, электроны отрицательно, нейтроны заряда не имеют.

– Стой, минутку, – перебила Вера Игнатьевна, – я ведь учила физику в институте. Плюс и плюс отталкиваются, а плюс и минус притягиваются. Верно?

– Мг-м.

– Не могу понять одну штуку. Почему электроны крутятся, а не притягиваются к ядру?

– Мам, это вообще-то квантовая механика. – Вася хмыкнул. – Мы сейчас в такие дебри залезем, если честно, я сам пока не очень секу. Давай сначала с расщеплением разберемся.

– Ладно, сынок, извини, больше перебивать не буду, – смиренно кивнула Вера Игнатьевна.

– Да, так вот, – кашлянув, продолжал Вася, – чем больше в ядре протонов, тем мощнее внутриядерные силы. Когда в ядро при обстреле попадает лишний нейтрон, порядок движения нарушается, начинается сутолока, возникает дополнительная энергия и получается вот что.

Вася стал быстро рисовать фигуры: овал вытянулся, превратился в песочные часы, потом в восьмерку, потом появилось два кружка, которые он украсил множеством летящих в разные стороны стрелок, и объяснил:

– Оболочка натягивается и разрывается пополам.

– Похоже на деление бактерий, – заметила Вера Игнатьевна, разглядывая рисунок.

– Да, точно, только бактерии тихо расползаются, а половинки ядра разлетаются с дикой скоростью. По формуле Эйнштейна, материя переходит в энергию. В уране есть маленький процент изотопов, у которых не сто сорок шесть, а сто сорок три нейтрона. Эта крошечная разница в три нейтрона может привести при расщеплении к цепной реакции. Ядра будут разлетаться одно за другим, каждое очередное расщепление даст два следующих, потом четыре, восемь, шестнадцать. В общем, бабахнет так... – Вася тихо, выразительно присвистнул и покачал головой.

– На уровне микромира бабахнет? – спросила Маша.

– Вот уж нет. – Вася развел руками, обозначая большое пространство. – На уровне целых континентов, а может, и всей планеты. Огромные города взлетят на воздух, например Москва, Лондон. Ничего живого не останется.

– Ты серьезно или шутишь? – Маша нервно поежилась.

Вася прикусил губу, помотал головой.

– Это не шутка, но пока только теория. Для цепной реакции нужен чистый уран двести тридцать пять, тот, у которого на три нейтрона меньше. А получить его практически невозможно. Сначала надо научиться разделять изотопы урана.

Доктор вспомнил удачный образ, придуманный Петром Николаевичем: стог сена и несколько травинок. Вася нашел другой, не хуже:

– Все равно что стрелять птиц в темноте, когда их там совсем мало.

Впрочем, тут же пояснил, что придумал это не он, а Альберт Эйнштейн.

– А если кто-то вдруг изобретет простой способ? – спросил Илья.

– Разделять изотопы урана? – Вася пожал плечами. – Великие уверены, что до этого далеко. Бор, Эйнштейн, Ферми. Но, с другой стороны, совсем недавно они были так же уверены, что ядра тяжелых элементов вообще не способны расщепляться. Ферми и Кюри в тридцать четвертом начали их расщеплять, но не понимали, что происходит на самом деле, выдумывали кучу разных объяснений в духе прежних теорий.

– То есть, возможно, какой-нибудь ученый уже нашел способ, но еще сам не догадался? – спросила Вера Игнатьевна.

Вася сначала скептически хмыкнул, наморщил лоб, помолчал минуту, наконец пробормотал:

– Мг-м... химически они ведут себя совершенно одинаково, разница только в весе, но это важно. Это физическая разница. Может, кто-то уже сумел зацепить, нащупать, но еще лет десять не поймет. Или уже завтра догадается. В науке так все и происходит. Один упрется в догму, застрянет, а другой возьмет да и перепрыгнет.

– Я привыкла, что Вася маленький, а он стал взрослый, – сказала Маша, когда сели в машину, – зрелая личность, умней меня в сто раз, и как хорошо, что нашел себе это убежище. Чистая наука, точная, красивая.

Они ехали по ночным улицам, совершенно пустым, подернутым звенящей белесой дымкой. Из-за лютого мороза город вымер. Исчезли постовые милиционеры, сизые тротуары матово лоснились в тусклом фонарном свете.

– Знаешь, – продолжала Маша, – папа все это объяснял много раз. Протоны, нейтроны, электроны. Какая-то абстракция. Я не понимала, мне было скучно, слушала, чтобы не обидеть его. А сейчас впервые попыталась представить. Весь мир, вся материя состоит из миллиардов микроскопических вселенных, наполненных энергией. То есть получается, есть только пустота и энергия, а остальное символы, слова.

– Вначале было Слово, – пробормотал Илья, сворачивая с Садовой на Горького.

– Что?

– Евангелие от Иоанна.

Маша зажмурилась и произнесла на одном дыхании:

– *«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».*

– Откуда знаешь? – изумился Илья.

– С детства. Бабушка читала, я именно эти строчки запомнила, как стихи. Постоянно думала: что же за Слово такое? Оно похоже на наши слова? Можно его услышать, прочитать, понять? Наши слова на девяносто девять процентов бессмысленные. Только иногда мелькнет слабенький отблеск смысла и спрячется, будто дразнит. Ну, а про взрыв, который может уничтожить огромный город, что думаешь?

Илья пожал плечами.

– Что тут думать? Вася объяснил, это только теория.

– Война тоже теория?

– Не вижу связи, – пробормотал Илья.

– Конечно, видишь! Опять врешь. Ядро расщепили в Германии, войну развязал Гитлер. Между прочим, ядовитые газы, самое страшное оружие в прошлой войне, придумали и использовали именно немцы. Вдруг там какой-нибудь очередной гений, с идеальным мозгом и вагнеровской ледяной душой, возьмет и сделает эту бомбу?

– Не сделает. – Илья помотал головой.

– Почему ты так уверен?

– Потому, что *«...и свет во тьме светит, и тьма не объяла его»*.

Маша задумалась, замолчала надолго. Только когда вышла из ванной, нырнула под одеяло, зашептала ему на ухо:

– Если бы у нас начали делать такую бомбу, Гитлер бы точно не решился напасть.

– Тс-с. – Илья прижал ее к себе, стал целовать.

– Прости, все время забываю, – испуганно пробормотала Маша, оторвавшись от его губ, – но ведь я ничего такого... и очень тихо, не могли они...

– Не волнуйся, конечно, не могли, да и спят наверняка.

В темноте он почувствовал, как она помотала головой, и услышал шепот:

– Свежая смена после полуночи. Мы с тобой тут вдвоем никогда не остаемся, ни на минутку.

Глава седьмая

На утреннем совещании объявили, что Управление сухопутных вооружений ждет создания опытного образца урановой бомбы не позднее февраля сорок первого года.

«С таким же успехом они могли бы сказать: завтра», – подумала Эмма и услышала громкий, на выдохе, шепот:

– Безумие...

Справа от нее, в следующем ряду, сидел Отто Ган. Она обернулась, встретила с ним взглядом и кивнула, показывая, что полностью с ним солидарна. Герман тревожно засопел, заерзал на стуле, однако в сторону Гана не взглянул.

Сегодня на совещание пожаловал главный куратор проекта, начальник исследовательского отдела УСВ Эрих Шуман. Он был профессором физики и отдаленным потомком композитора Шумана, заведовал кафедрой экспериментальной физики в Берлинском университете и сочинял военные марши. Институтские остряки прозвали его Physik-Musik. Говорили, что кафедру Шуман получил в награду за свои марши, поднимающие патриотический дух, а профессорское звание – дань уважения к его знаменитому предку.

Возможно, марши Эриха Шумана были хороши, но в физике он смыслил мало, как положено невежде, ненавидел и презирал профессионалов.

– Государство оказывает вам огромное, беспрецедентное доверие, – вещал Шуман, взбравшись на кафедру, – в тяжелые дни войны, когда наши доблестные войска сражаются за мир и процветание Европы, когда все силы нации, физические и духовные, посвящены борьбе, когда денно и нощно лучшие сыны германского народа отдают свою энергию великому делу...

Physik-Musik выступал без бумажки, речь лилась легко, бравурно, Эмма подумала, что его марши должны воодушевлять. Он еще раз повторил срок: февраль сорок первого, и внимательно оглядел зал.

– У кого-нибудь есть вопросы?

– Это нереальный срок, – громко произнес Ган.

Аудитория согласно загудела.

– Это срок, в который вы обязаны уложиться, – ответил Шуман и, пристально глядя на Гана, добавил: – Подобные замечания кажутся странными, особенно из ваших уст, профессор Ган. Если не ошибаюсь, именно вы оповестили мир об открытии стратегического значения, которое должно было остаться государственной тайной. По вашей вине информация о расщеплении ядра урана стала достоянием наших врагов.

Повисла тишина. Эмма решилась искоса взглянуть на Гана. Он побледнел, веки мелко дрожали за стеклами очков.

«Был бы тут Гейзенберг, он бы ответил, – думала она, – Physik-Musik свято чтит табель о рангах. Его хамство строго дозировано. Доцентов вроде меня он просто не замечает. На профессоров орет. На академиков голоса не повышает, но позволяет себе мерзкий, угрожающе-язвительный тон. И только с мировыми величинами, нобелевскими лауреатами, говорит любезно, как с равными. Да, Гейзенберг мог бы ответить. Однако мировые величины пользуются привилегией прогуливать эти гнусные совещания».

– Вы ошибаетесь, господин Шуман, – прозвучал в тишине спокойный голос Карла Вайцеккера, – профессор Ган не виноват, первым об открытии поведал миру вовсе не он.

Из всех присутствующих лишь один Карл Вайцеккер мог позволить себе вступить за Гана, не опасаясь нарваться на неприятности. В табели о рангах Physik-Musik статус Вайцеккера-старшего, статс-секретаря МИДа, конечно, превосходил статус нобелевского лауреата, а статус сына статс-секретаря был примерно на одном уровне с самим Physik-Musik.

– Не он? А кто же, позвольте вас спросить, дорогой мой Карл? – Голос Шумана мгновенно смягчился.

– Нильс Бор, – холодно ответил Вайцзеккер.

– Вот как? В таком случае, может, и само открытие принадлежит Бору?

Тон Вайцзеккера кольнул Physik-Musik, он решил выместить обиду, покуражиться, но не над сыном статс-секретаря, а над профессором Ганом.

– Нет, господин Шуман, открытие принадлежит профессору Гану и его ассистенту доктору Штрассману, – вяло парировал Вайцзеккер. – Профессор Бор всего лишь доложил о нем на пятой конференции физиков в Нью-Йорке в середине января тридцать девятого года.

– Докладил? Но позвольте, чтобы доложить, надо знать. От кого мог узнать профессор Бор, когда ничего еще не было опубликовано? – Шуман хмуро оглядел аудиторию. – Считаю своим долгом напомнить вам, господа, что разглашение информации, составляющей государственную тайну, карается по законам военного времени...

– В январе тридцать девятого война еще не началась, – громко, раздраженно перебил его Вайцзеккер.

– Мирное время не отменяет понятие государственной тайны, – рявкнул Physik-Musik и добавил чуть мягче: – Нет, я не обвиняю профессора Гана, я просто пытаюсь понять, каким образом открытие, сделанное в стенах вашего института, мгновенно просочилось за пределы страны и стало известно всему миру прежде, чем появилась публикация в германской прессе? Может быть, профессор Ган поспешил по-дружески поделиться своей великой радостью с великим Бором? Или это сделал доктор Штрассман?

Эмма услышала, как позади заскрипел стул. Ган встал и громко произнес:

– Нет, господин Шуман, ни я, ни доктор Штрассман этого не делали.

– Допустим, – кивнул Physik-Musik, – в таком случае кто?

Стул опять заскрипел. Ган уселся на место. Оглянувшись, Эмма увидела, что лицо его побагровело, на лбу блестели бисерины пота. За всю свою жизнь Отто Ган вряд ли когда-нибудь подвергался такой унижительной публичной порке.

Аудитория напряженно молчала. Никто, даже Вайцзеккер, не мог проронить ни слова. Эмма вспомнила недавний рассказ Гейзенберга о том, как его вызывали на допрос в гестапо. В подвале страшного дома на Принцальбертштрассе на стене была намалевана надпись: *«Дышите глубоко и спокойно»*.

Тишина в аудитории сгущалась. Герман незаметно сжал руку Эммы. Она почувствовала дрожь его ледяных влажных пальцев, склонилась к его уху и прошептала:

– Ну-ну, успокойся, мы ни при чем, – и подумала: «Еще как при чем! Этот мерзавец имеет над нами полную власть. Участие в проекте не гарантирует безопасность, наоборот, делает каждого из нас еще более уязвимым. *Дышите глубоко и спокойно»*.

Physik-Musik взглянул на часы и произнес бодро-деловитым голосом:

– Приступайте к работе, господа. Время дорого. Прошу запомнить: февраль сорок первого. Хайль Гитлер!

Все повставали с мест, кто-то вскинул руку, кто-то лишь слегка приподнял, но каждый, громче или тише, произнес свое ответное «Хайль».

День прошел бестолково, работа не ладилась, барахлили приборы, Герман нервничал, без конца повторял:

– Февраль сорок первого... Почему такая бешеная спешка? Они с ума сошли! Ну а если не получится, не успеем, тогда что?

– Расстреляют, – буркнула Эмма, не выдержав его нытья.

– Прекрати! Это не повод для идиотских острот! Мы топчемся на месте, я измотан до предела!

– Бедненький! А я сегодня вернулась с курорта.

И пошло-поехало. Они поссорились так, что потом не разговаривали до вечера, спать легли в разных комнатах, утром завтракали молча, не глядя друг на друга.

Это было воскресенье. Эмма, не попрощавшись с мужем, отправилась в Шарлоттенбург пораньше, хотела немного погулять в одиночестве, выветрить все гадкое, тревожное, что накопилось в душе.

«Что же меня так мучает? – размышляла она, шагая по аллее пустынного парка, поеживаясь от порывов ветра. – Хамский разнос на совещании? Но ведь не меня разносили и не Германа. Да, неприятно, однако можно забыть. Что еще? Ссора с Германом? Ерунда. Помирился сегодня вечером. Он спать один не может, вот под одеялом и помирился, как всегда».

Ледок хрустел под каблуками, глаза слезились. Эмма села на скамейку, откинулась на жесткую спинку, увидела пасмурное небо. Мелкие бурые клочья неслись наперегонки. Над ними тяжело плыли крупные сизые облака, и совсем высоко стоял неподвижный желтовато-белесый слой туч, такой плотный, что ветер не мог его разогнать, он висел над Берлином вторую неделю, как грязный саван.

«Так что же? – Она, поеживаясь, плотнее замотала шарф. – Абсурдная дата – февраль сорок первого? Конечно, мы не успеем. Расстрелять не расстреляют, но финансирование срежут, а главное, могут сократить штат, снять бронь».

Эмма сморщилась, прикусила губу. Не стоило обманывать себя. Это был все тот же страх. Он поселился в ее душе с первого дня войны. Герман боялся панически, называл имена общих знакомых, которые получали повестки, несмотря на самую надежную бронь. Эмма легко клала на обе лопатки его панику, но оказалась бессильна против собственного страха.

Сегодня война вроде бы притихла, шли вялые сражения с англичанами где-то в Атлантике. Призыв приостановился, но было ясно, что ненадолго. Всего лишь зимняя спячка, передышка. Весной начнется настоящая, большая война, по сравнению с которой Польская кампания только разминка. Куда двинутся войска, на запад или на восток, во Францию или в Россию, не важно. Призывать станут всех подряд.

Во сне и наяву Эмму преследовали жуткие видения. Повестка. Бледное застывшее лицо Германа. Чемоданчик, который она собирает трясущимися руками. Теплое белье, шерстяные носки, мыло, бритвенный станок, упаковка лезвий, зубная щетка, книги. Зачем ему там – книги?

Иногда ей казалось, что она страдает галлюцинациями и теряет рассудок. Мерещился призывной пункт, Герман, обряженный в грубую униформу в строю новобранцев. Он не может шагать в ногу, семенит, горбится, роняет очки, он абсолютно беззащитен и обречен.

Когда они начали работать в команде Гейзенберга, страх почти исчез. А вчера на совещании внезапно и мощно ударил под дых.

Как и все в институте, Эмма понимала, что любые сроки бессмысленны. Работа будет продвигаться черепашным шагом или стоять на месте, пока не случится прорыв. Нужна свежая идея, на грани гениальности.

Эксперименты показали, что ни один из известных методов разделения изотопов не годится для урана. Крупнейшему германскому заводу пришлось бы работать тысячу лет, чтобы получить один грамм чистого урана 235. А для бомбы потребуется несколько килограммов. Тупик, непреодолимая стена.

Эмма добросовестно выполняла свои обязанности, занималась вычислениями скорости резонансного поглощения нейтронов и все острее чувствовала бесполезность этого кропотливого рутинного труда. Ну, примерно как собирать пылинки со стены, которую надо просто пробить неожиданным, точным и красивым ударом.

«Должен быть какой-то особенный метод, пусть он покажется абсолютно невозможным на первый взгляд. Пусть он будет противоречить всем законам физики и химии», – размышляла Эмма, изумляясь собственной наглости.

Табель о рангах существовала не только в чиновничьем сознании Physik-Musik. В мужском мире интеллектуалов, настоящих ученых, доценту женского пола полагалось знать свое место. В другое время, в другой ситуации Эмма ни за что не решилась бы, даже мысленно, замахнуться на идею, достойную если не Нобелевской премии, то медали Планка. Но сейчас у нее не было выхода. Только поиск идеи отвлекал ее от страха за свой маленький мир, который рухнет, как только Герман получит повестку.

Эмма зубами стянула перчатку, принялась щелкать замком сумочки, открывать, закрывать, бормоча себе под нос:

– Я больше не могу. Этот страх меня убивает. Я просто сойду с ума и не доживу до февраля сорок первого.

Роскошные сентенции, что бомба – тростинка Прометея, диалог со Вселенной, геополитическая необходимость, лучшее лекарство от чумы большевизма, которое действует быстро и бескровно, Эмму не утешали. Она бы рада так возвышенно врать, но не получалось. Она отчетливо представляла масштаб бедствия. Сотни тысяч убитых. Развалины городов. Выжженная земля. Атмосфера, пронизанная смертельными излучениями.

Промокнув платочком слезящиеся от холода глаза, Эмма захлопнула сумочку, надела перчатки и честно призналась себе: «Да, катастрофа, но она случится далеко отсюда, мой маленький мир уцелеет. Достаточно того, что я потеряла ребенка и саму возможность иметь детей».

Она встала со скамейки, быстро пошла к площади у кирхи. С каждым воскресеньем ярмарочных палаток становилось все меньше, цены росли. Яблок и сливок не было. Удалось купить только сыр и хлеб, в полтора раза дороже, чем в прошлое воскресенье.

* * *

Вечером в гостинице Тибо вручил Осе пухлую папку и сказал:

– Кое-что, для начала. Утром вернете, не позже семи. Я уезжаю в половине девятого. Только, пожалуйста, разложите бумаги в том же порядке.

Ося взвесил папку на ладони, хмыкнул.

– Думаете, одолею за ночь?

– Придется. – Тибо сладко, со стоном, зевнул. – Можете делать выписки.

Пожелание «спокойной ночи» из его уст прозвучало как издевательство. Ося отправился к себе, по дороге попросил коридорного принести кофе.

Письменного стола в номере не было, только низенький журнальный и туалетный, такой узкий, что папка на нем не помещалась. Усевшись в кресло, он раскрыл папку на коленях.

Сверху лежала толстая стопка листов, заполненных машинописным текстом на английском, под заголовком: «Строение атома. Механизм деления ядра урана. Краткая справка».

Ося начал читать. Со дна памяти потихоньку всплывали фрагменты гимназического курса, какие-то киножурналы, научно-популярные брошюры, пролистанные от нечего делать в поезде, газетные заголовки и прочая дребедень. Он вспомнил, что Резерфорд любил футбол, собирал свои приборы из жестянок, велосипедных насосов, вязальных спиц, алюминиевой фольги, создал планетарную модель атома и открыл атомное ядро. Эйнштейн играл на скрипке, придумал теорию относительности, вывел формулу $E = mc^2$ и сбежал из Германии в тридцать втором. Оставалось только понять связь фольги с планетарной моделью, смысл теории относительности и значение формулы Эйнштейна.

Вернулось давно забытое подростковое недоумение: почему физику, в которой все условно и фантастично, именуют точной наукой? Атом, протон, электрон – только слова, символы, их невозможно увидеть и пощупать. Строение микромира, само его существование

известно по косвенным признакам, смутным намекам. Вспышки, потрескивания, щелчки, свечение.

Перевернув очередную страницу, Ося узнал, что ядро соотносится с размером атома как буква в книге с размером здания библиотеки. Между ядром и оболочкой атома пустота, в масштабах микромира настолько гигантская, что, если из человека выкачать все пустоты его атомов, он легко проскользнет в игольное ушко.

«А сквозь колючку нацистских и советских лагерей тем более, – подумал Ося, – вот достойное изобретение, универсальный способ побега для всех желающих. Лучше бы этим занялись вместо бомбы».

В тексте густо замелькали нуклоны, протоны, нейтроны, электроны, изотопы. Ося решил, что пора последовать совету Тибо, выписать основные определения. Он переложил раскрытую папку на кровать, хотел достать из саквояжа блокнот, но в дверь постучали.

– Минуту! – он захлопнул папку и открыл дверь.

Официант вкатил сервировочный столик с дымящимся кофейником, чашкой, сахарницей. Осе не понравился его быстрый, шарящий взгляд, вдруг пришло в голову, что, прежде чем постучать, парень заглянул в замочную скважину.

«Ерунда, – одернул себя Ося, – ключ торчит внутри, ничего он не мог увидеть. Тибо вообще оставлял папку в номере на весь день. Ну что там секретного? Строение атома? Газетные вырезки?»

Официант расстелил салфетку на журнальном столе и переставил все туда. Ося расплатился, дал хорошие чаевые. Официант поблагодарил, спрятал деньги. Вместо того чтобы уйти, схватился за ручку кофейника.

– Спасибо, не нужно, я сам налью, – сказал Ося.

Но струйка кофе уже лилась, причем мимо чашки.

«Второй раз то же лицо... Он обслуживал нас в ресторане за обедом, но не был таким рассеянным...» – подумал Ося и услышал:

– Пан – итальянец?

– Да.

– У пана кинокамера? – официант кивнул на «Аймо», лежавшую на кровати, рядом с папкой.

– Да.

– Пан снимал сегодня их парад?

– Снимал.

– Пожалуйста, берегите пленки, пригодятся потом, когда их будут судить.

Официант говорил на смеси польского с ломаным немецким и промокал салфеткой кофейную лужицу.

– Кого? – спросил Ося.

– И тех и других, за то, что они сделали с Польшей. – Он бросил салфетку на сервировочный столик. – Простите, я пролил кофе, если пан желает, могу принести другой кофейник.

– Спасибо, не нужно, вы пролили совсем немного.

Ося запер за ним дверь, вместе с блокнотом достал новую пачку сигарет. Прежде чем отдернуть плотные шторы и открыть окно, погасил свет. Еще не отменили затемнение. В доме напротив смутно чернели прямоугольники окон. Мелкий дождь стучал по карнизу. Бои закончились, на город опрокинулась первая тихая ночь. Но казалось, никто не спит за темными окнами.

«Будут судить, – повторил про себя Ося. – Когда? Кто и кого? Господи, все только началось, а что же дальше? Выживет эта уютная частная гостиница при Советах? Кофе в номер, кружевные салфетки, желтый шелковый абажур с бахромой, деревянная Мадонна на прикро-

ватной тумбочке... Что станет с парнем, верящим в праведный суд? Надолго Советы тут укрепятся, или Гитлер скоро двинется дальше на восток, вышибет их отсюда?»

Он докурил, задернул шторы, включил свет, налил себе кофе, раскрыл папку.

В Париже супруги Кюри бомбили альфа-частицами алюминий. В Берлине химик Ган со своим ассистентом Штрассманом обстреливали нейтронами уран. Чья-то заботливая рука подчеркнула синим карандашом слова Резерфорда: *«Некий болван в лаборатории может взорвать вселенную»*. На полях стояла цифра «1924». То есть Резерфорд сказал это пятнадцать лет назад. Ну что ж, предвиденье сбывается. Сегодня некий болван уже взрывает Европу, пока не всю, частями, бомбы не урановые. А завтра?

На следующей странице синий восклицательный знак сопровождал высказывание Эйнштейна:

«Мне представляется маловероятным такое устройство мироздания, при котором человеку могут стать доступны разрушительные силы, способные уничтожить само здание мира. Но если появилась хотя бы тень подозрения, что такие силы могут стать доступны Гитлеру, следует действовать».

Ося делал выписки, сидя по-турецки на ковре. Столом служил кофр для пленки. Строчки плыли перед глазами, казалось, никогда он не сумеет разобраться в ужимках и прыжках вездесущих нейтронов, в капризах радия, который после облучения урана ведет себя не как радий, а как барий.

Ныла спина, затекали ноги, в блокноте осталась последняя чистая страница, в самописке закончились чернила, кофе остыл. Он встал, прошелся по номеру, умылся холодной водой, отыскал в саквояже склянку чернил. Заправляя самописку, поставил небольшую кляксу на полях, осторожно промокнул ее бумажной салфеткой.

Из двадцати страниц «Краткой справки» он одолел уже пятнадцать. На шестнадцатой наконец появился герой, которого Тибо назвал главным. Ося с изумлением обнаружил, что профессора Мейтнер зовут Лиза.

Он довольно легко понял суть открытия, возможно потому, что уже немного освоился в микромире. Он заполнил выписками последний листок блокнота и картонку обложки, отложил дочитанную до конца «Краткую справку». Но осталась еще солидная порция бумаг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.